

ня приняли в железнодорожную поликлинику в регистратуру.

А дальше началась война. Я поступила на курсы медицинских сестер, окончила их, и через полмесяца повестка пришла — на работу в госпиталь. Но сестер в госпитале оказалось уже достаточно, — меня назначили заведующей медицинской канцелярией. А вскоре я ушла на фронт.

Поредела наша семья в военные годы: три старших брата погибли, четвертый пришел инвалидом, Ольга, вернувшись с войны с мужем, умерла при родах...

Кто-то сказал, что человеческая скорбь выражается не только в том, что человек перестает смеяться. Настоящая, глубокая скорбь становится частью тебя самого, она пронизывает мысли и радость и никогда не утихает.

Идут годы, а не бывает, пожалуй, дня, чтоб я не вспомнила об отце. Иногда так жизнь закрутит, так бывает трудно — ложись и умирай, да вспомню, как он часто говаривал: «Иной раз подумаю, дак хоть не живи, а раздумаюсь — дак хоть заживись...»

С печалью, тихой и постоянной, вспоминаю мать, уж много лет покоящуюся рядом с отцом, навечно вместе с ним обретя земной приют, с неустанным удивлением припоминаю ее житейскую мудрость и терпение, ее доброту и стойкость духа. Это живет во мне и не видимо, но явно помогает устоять в бедственное время, когда трудно сдержаться, чтоб не обидеть кого словом, поступком, находить выход из положения, вроде бы уж вовсе безвыходного.

Ощущения давности нет в моей душе. Все, что было, идет со мною, минуя пространство и время, — лишь радость преходящая, а печаль и память вечны, да еще любовь к близким. Не мною сказано, что все, кого мы любим, — есть боль наша, и над болью этой, светлой и неизбежной, не властны ни бури жизни, ни ветры времени...

ЗНАКИ ЖИЗНИ

Часть первая

УРАЛ

Я еще в детстве не раз и не два видела и знала, что плачут старики, особенно старушки: то из детей кто заболел, то с животинкой что случилось или, не дай Бог, умер кто. Да мало ли... Но завтра, даже уже сегодня, я знаю, как горько и безутешно будет плакать моя мама, и я буду тому виной... Завтра я уеду на войну. Пятая из семьи. Пятая!.. Как это пережить даже здоровому и молодому еще человеку, уходящему на войну, где убивают? Как пережить провожающим на войну кормильца, который тоже может пасть от пули или снаряда (да какая разница?!). А тут вот я...

Надо ли говорить, каким убийственным горем обрушилась на людей война. Наша большая семья не станет исключением и начнет быстро редеть. Я сразу же поступила на курсы медицинских сестер, которые скоро открылись при городской поликлинике.

Днем и ночью из города стали отправлять эшелоны часто обмундированных уже солдат. На стадионе металлургов маршировали и готовились к отправке взводы и роты мобилизованных. Командиры под крики, плач и надрывно пиликающие гармошки зачитывали приказы, проверяли личный состав, подавали команды.

В кинотеатре непрерывно играла музыка; в зрительном зале бесплатно демонстрировались фильмы: «Девушка с характером», «Волочаевские дни», «Трактористы», «Сердца четырех», «Моя любовь» и еще какие-то — для добровольцев, уезжающих на фронт. В фойе вдоль стен толпилась молодежь. На крохотной эстрадной площадке разместились оркестранты и играли, играли танцевальные мелодии. В середине зала, толкая друг дружку, любители танцевать кружились в вальсе, притопывали и шаркали ногами в фокстроте или медленно покачивались, танцуя танго. В фойе пришли многие из сотрудников поликлиники, кто был свободен от работы. Пришла и я вместе со всеми, с кем переснакомилась и сдружилась за время учебы на курсах медсестер. Еще бы! Сегодня вместе с другими добровольцами-меди-

ками провожали на войну и фельдшера «скорой помощи» Васю, мечтавшего стать хирургом. О Васе часто говорили, что он красавица и гордость коллектива! А может быть, и всего небольшого городка — его же знали и уважали все люди, здесь живущие.

Вася в белой рубашке-апах, в белых, парусиновых, модных перед войной, брюках, все танцевал, танцевал... Волнистые каштановые волосы то и дело падали на правую его бровь, и он неповторимо изящным движением головы чуть откидывал их с гладкого, вспотевшего уже лба; в карих глазах влажность, полные губы все время в улыбке и оттого ямочки на щеках обозначились резче. И это выражение его лица, и легкость в движениях делали Васю просто неотразимым. Я тоже переступала на месте в такт музыке: с притопом, когда играли фокстрот или румбу, мысленно скользила, вытанцовывая па из «Утомленного солнца», кружилась в вальсе, сама же все смотрела и смотрела на Васю, с кем бы он ни танцевал, видела только его, разгоряченного, неутомимого, такого отчаянно-веселого.

Дверь в зрительный зал не успевала закрываться, желающих танцевать все прибавлялось. В переполненном фойе уже несколько раз то в одном месте, то в другом вспыхивал плач, в танцах получался сбой, и тогда оркестранты «перестраивались» — «Амурские волны» сменялись «Андрюшей» или «Рио-Ритой» — и кавалеры со своими барышнями танцевали фокстрот. Веселье продолжалось: здесь сегодня добровольцы веселились перед дальней и горькой дорогой, и они, и провожающие не давали волю отчаянию и слезам перед разлукой. Духовой оркестр играл без передышки. Музыканты, то один, то другой, отложив инструмент, отходили к открытому окну, курили, наблюдали за прощальным весельем и, искуриив «Прибой» или «Пушку» до картонки, кидали окурки в урну и возвращались на место.

Мне тоже очень хотелось танцевать, меня приглашали, но я, сама не понимая отчего, отказывалась, говорила: «Не умею. Извините» — и все стояла, все с любованием наблюдала за Васей. И мне уж боязно сделалось: не убили бы Васю на войне, не покалечили бы такого молодого и красивого, такого невозможно-удивительного, в которого были влюблены почти все. Слышала, будто бы в военкомате не советовали ему торопиться на фронт, мол, медики и в тылу нужны, бронь предлагали. Он настоял на своем! Да и возможно ли иначе? Это же Вася! Неожиданно оркестр заиграл старинный танец па-де-спань. Танцующие начали расходиться кто куда. Вася остановился посреди зала, отыскивая взглядом, кого бы пригласить на этот танец. Девчата с сожалением пожимали плечами — па-де-спань танцевать они не умели. А я... Я через силу сдерживала себя, чтоб не ринуться на середину зала, не крикнуть: «Вася! Я очень хорошо танцую па-де-спань! Очень

люблю этот танец. Пригласи меня, пожалуйста! Ну, посмотри же в мою сторону — неужели не видишь?...» Я даже губы закусила, чтоб не вскрикнуть радостно, что играют мой любимый танец, вся напряглась и все-таки как вкопанная стояла на месте и не спускала с Васи глаз.

Вася, видимо, почувствовал мой взгляд, повернулся, увидел и радостно раскинул руки, двинувшись ко мне. И тут уж я не устояла! Вспыхнув лицом от смущения и счастья, сама вышла ему навстречу, посмотрела пристально в глаза, чтоб удостовериться, что именно меня Вася приглашает на па-де-спань, положила ладонь ему на плечо, другую — на его протянутую руку, чуть откинула голову — так полагается — и, уже не видя ничего вокруг, кроме Васи, вошла в танец. Когда после пробежки сначала в одну сторону, затем в другую Вася брал меня за талию и начинал кружить, я чувствовала себя птицей, легкой и свободной, и почти не касалась пола, выстланного красно-белой кафельной плиткой. Юбочка в складку развевалась, тонюсенькая розовая кофточка с рукавом-фонариком, которая мне очень к лицу, — так говорили подружки — не стесняла движений, и я млея от мысли, что все на нас смотрят с интересом, может, даже и завидуют некоторые...

Вася смотрел мне в глаза, легонько сжимал мою маленькую ладонь и, сломив брови, чуть щурился, преодолевая что-то в себе — глубокую ли печаль или недобрые предчувствия, и чуть слышно напевал мелодию танца.

Оркестр замедлил темп, собрался закончить играть па-де-спань. Вася, почувствовав это, весело попросил:

— Братцы! Дайте душу отвести! Поиграйте еще! — И как-то по-особенному посмотрел на меня: — Эх, Машенька! Со мной такое сегодня творится!.. Уж к добру ли? Танцую, а сам думаю: «Вот еще один танец, последний — и все! Пойду домой, побуду еще с мамой. Она там одна, плачет...» А во мне все поет. Маша! Я сам себя не узнаю! — Снова пробежка, сначала вперед, затем обратно, и снова кружение. — А ты где так танцевать-то научилась?

— А давно, еще в детстве. Взрослые танцуют, и мы тоже — отбежим в сторону и ну вытанцовывать! Да еще и подпеваем себе:

Па-де-спанец — хорошенький танец!

Его очень легко танцевать.

Только ножку поднять и кружиться.

А потом танцевать, танцевать...

Вася подхватил меня, закружил и весело запел: «Па-де-спанец — хорошенький танец...» Музыка враз смолкла. На эстраду вышел человек в военном:

— Товарищи добровольцы! Прошу выходить на построение!

Вася дакнул мою руку и устремился к выходу. Я отчего-то не ринулась вслед за всеми, а отошла к эстраде, где простояла почти весь вечер, и, приподнимаясь на цыпочки, стала отыскивать Васю глазами. Но народу тьма, и все выше меня. Недолго думая, я взобралась на эстраду и скоро в толпе нашла Васю. И тут почувствовала, как подкашиваются у меня ноги, сердце пронзительно заныло, и тогда, не помня себя от обиды, непонятной и глубокой, с отчаянием крикнула:

— Вася! Проща-ай!

Вася расслышал мой вскрик, обернулся, увидел и, усиленно работая локтями, ринулся против людского потока.

— Маша! Машенька! — еще издали, перекрывая общий гул, торопливо заговорил он. — Спасибо тебе... за па-де-спать! Ты не забывай этот вечер! Не забывай наш танец! Меня не забывай!.. Ну, Маша, прощай! Ты славная девушка. Прощай, Машенька! — Вася подхватил меня под мышки, ссадил с эстрады на пол, крепко поцеловал, повернулся и быстро пошел к выходу. У дверей оглянулся, поднял руку. — Пока, Маша! — крикнул он громко. — Кончится война, мы еще потанцуем...

Так и живет в моей памяти Вася — фельдшер «скорой помощи», тихо, печально и светло затаилось на самом доньшке моей, такой юной когда-то души... моя ли вина, что никогда его не забуду... его ли вина, скорее — судьба, что он никогда уж больше ни со мной, ни с какой другой девушкой не станцует па-де-спать... ни к кому не придет на помощь в крайнюю минуту...

Первым из нашей большой семьи уезжал на войну брат Анатолий, недавно отслуживший кадровую службу. Он родился 23 февраля 1916 года. Был высок ростом. Голубые (мамины) глаза и слегка румяные щеки придавали его лицу нежность, но ямочка на подбородке и прямой нос говорили о твердости характера. После школы поступил учеником проектировщика на завод, на «Стан 370» — прокатный цех такой был — хорошо себя проявил, его направили на двухгодичные курсы, он их успешно закончил и последнее время замещал уже главного конструктора. В канун отправки на фронт Толя как бы поставил условие, чтоб не голосили, не плакали — мы компанией отправились в городской сад. Вслед за Анатолием, на которого пока еще не было похоронки, на одной неделе из нашей семьи призвали на фронт старшего из братьев — Сергея. Вернее, не призвали, да и не призвали бы — он страдал грыжей, — но он раза три ходил к военкому, доказывал, что может быть топографом, политруком, поскольку грамотой владеет, начитан, положение, в каком находится страна, понимает и потому считает, что в данное

время он там нужнее, а уж чему быть — того не миновать... Убедил он военкома.

Мама жила через силу, вела хозяйство, содержала корову. Папа по-прежнему работал составителем поездов на станции, хотя крепкое когда-то здоровье его сильно было подорвано перенесенной болезнью — брюшным тифом.

Я, сколько буду жить, не забуду, как он тяжело болел, как долго и трудно выздоравливал, как тяжело и горько переживала эту беду наша семья. Папе дали бронь, вернее, рекомендовали легкую работу, но легкой работы в ту пору не было, так и работал, иногда через смену, иногда сутки через сутки. Уставал, недоедал, но пытался помогать и по хозяйству: шутка ли — сразу двух работников, двух сыновей-помощников лишиться!

Я в ту пору работала лаборантом на металлургическом заводе в центральной лаборатории. Когда открылись курсы обучения на медсестер я, естественно, сразу же на них и записалась — тоже не подумала о том, что теперь и вовсе ничего не смогу помочь по дому: уходила рано, приходила поздно. Через два с половиной месяца успешно их закончила, получила удостоверение, что мне присвоено звание медсестры, вроде второй категории — научилась делать уколы, различать реваноль от йода, накладывать жгуты, делать перевязки и еще немного из того, что должна знать и уметь медсестра. Мама без восторга встретила это мое сообщение, не плакала и не расспрашивала, что и как теперь будет.

Вызвали повесткой в военкомат. За столом сидел пожилой майор, очень похожий на папиного друга — Евдокима Кузьмича. Поздоровалась, подала повестку. Он быстро прочитал, коротко расписался и подал мне другую:

— Это вам направление для работы медсестрой в развертывающийся эвакогоспиталь 2569, обратитесь в канцелярию, представьтесь. Желаю успеха!

Госпиталь располагался в двухэтажной, многооконной школе, стоявшей чуть в отдалении от железной дороги.

Увидела меня в канцелярии светлокудая, сероглазая, веселая отчего-то женщина, кивком пригласила к своему столу.

— Я вас слушаю, — и, не дождавшись, пока я объясню, взяла направление, прочитала, оглядела всех и меня тоже, затем позвонила: — Елизавета Петровна! К нам вот еще пришла медсестра, с направлением из военкомата, — послушала, покивала, но тут же уверенно ответила: — Но у нас, Елизавета Петровна, медсестер уже полный комплект. Что? Чтоб к вам зашла? Хорошо. Она сейчас придет. — Спросила, какие при себе имеют документы, взяла и паспорт, и трудовую новенькую книжку, вложила в нее согнутое вдвое направление и объяснила, как пройти к начальнику госпиталя.

Елизавете Петровне на вид было лет сорок пять, лицо простое, но на первый взгляд, светло-голубые глаза добры и пронзительны, волосы обесцвечены, перманентная завивка очень к лицу, голос низкий, меж пальцев зажата недокуренная сигарета.

— Ну, здравствуй, Маруся! Ничего, что я сразу так? Да ведь нам вместе работать, почти жить. Привыкай. — И сообщила мне, что я буду заведовать медицинской канцелярией, заниматься документами, оформлением, кого на выписку по чистой, кого в запасной полк, кого на фронт... Протоколы вести на медкомиссии. Подумала, в окно посмотрела, затянувшись сигаретой. — В общем, Марусенька, работы будет много. Раненых пока нет. Ждем. А пока — подготовка: красим кровати, моем окна, готовим постели, палаты. В общем, не пугайся, не робей, но и дело знать и исполнять надо будет как положено. А пока... — она широко улыбнулась, обнажив золотые зубы. — А пока мы с тобой пообедаем — пробу снимать будем, — позволила и сказала кому-то, чтоб принесли обед на двоих.

Дома я подробно обо всем рассказала, что и как. Мама не плакала, даже со вздохом сказала тихо, как бы подумала, мол, может, которого и из наших привезут... пусть израненного, только бы живого. Когда я пришла домой, вижу: за столом сидит брат Валя, серьезный, насупленный, в серой куртке с фигурной коричневой кокеткой, молния застегнута до воротника, короткая челка козырьком «зализана» слева надо лбом. Это у него с детства. И у брата Анатолия — так же. По другую сторону большого, когда-то по семье, стола сидит заплаканная мама.

Я еще не успела подумать или спросить, что случилось, только поздоровалась, под села к Вале рядом, кивнула на еду, спросила: «Может поделиться?» Он отказался, я съела ломтик хлеба с зубчиком чеснока, выпила забеленный молоком чай — это было оставлено мне на ужин. Тогда мама и сообщила:

— Вальку тоже на войну отправляют, — ткнулась лицом в ладони и с сипом заплакала.

Брат Валя родился в феврале 1924 года. Светловолосый, чуть конопатый около небольшого, чуть вздернутого носа, не пел, не кричал громче всех, когда играли на улице, вообще, был тих и даже застенчив, не слышно его и не видно. После шестого класса тяжело болел и год пропустил, затем поучился в школе рабочей молодежи и прирабатывал как ученик художника в кинотеатре — рисовал простенькие афиши. Затем окончил ремесленное училище, и его направили работать электриком в вагонное депо на станцию Верещагино... Оттуда и вызвали его повесткой из военкомата — призвали на войну.

А я — ох и умна же еще была! А может, успела не то чтобы привыкнуть, а смирилась, что на войне столько народу, что и

раненых уже некуда класть, чтоб лечить... А убитых сколько — и представить невозможно. Но в наш дом не пришло ни одной похоронки, и потому думалось: может, нас минует эта беда — не всех же убивают...

— Сегодня к нам в госпиталь поступило много раненых, едва разместили. Начальник медсанчасти сказала, что завтра-послезавтра будут комиссовать — кого куда...

Почувствовав мамин пристальный горький взгляд, мол, хоть бы при парне-то не рассказывала, я смолкла. Спросила, сколько часам и куда велели приходить на сбор, еще маленько посидела. Мысли, что видимся с братом последний раз, не было. Сказала ему, чтоб при возможности писал, маме велела разбудить меня — тоже пойду провожать, а пока маленько посплю... Легла и сразу как провалилась — уснула.

Проснулась — ни Вали, ни мамы уже не было. На часах без пяти семь, к восьми мне на работу. Посожалела и пошла в госпиталь.

Он только одну ночь ночевал дома, а рано утром их отправили. Получили от него единственное краткое, пока даже без обратного адреса, письмо, что везут их в сторону Ленинграда.

Больше я брата своего Вальку не видела и на единственное его письмо, из-за отсутствия адреса, не ответила.

Позже, уже много времени спустя, наверное, с полгода прошло, когда получили сообщение, что боец Корякин Валентин Семенович 1924 года рождения пропал без вести... Мама, оплакивая его, все причитала: «Валя ты Валя! Бедный Валя, горемычный... жили в бедности, ты так и костюм не поносил, не понаряжался, не погулял...» Я и тогда, и после — все эти годы, сколько живу, все виню: чужих встречала и провожала, а вот брата родного не встретила, не проводила, теперь уж не увижу никогда. Такая короткая, безрадостная, безжалостная и жестокая ему выпала жизнь...

Уже два брата ушли из жизни не по своей воле, по приказу ушли на смерть — умереть за победу... В феврале сорок третьего года призвали на войну и четвертого моего брата — Азария.

Но до фронта он так и не доехал — сильно разболелись глаза, и его демобилизовали домой по чистой.

Однажды заместитель начальника госпиталя по политчасти собрал медсестер и санитарок, в общем, весь молодой обслуживающий персонал и призвал добровольно идти на фронт, подавать заявления. Я была секретарем комсомольской организации, и он после беседы велел мне зайти к нему в кабинет. Помню, что говорил о положении на фронтах, о катастрофической нехватке бойцов, особенно медперсонала, и чтоб я поговорила

доверительно и убедительно с кем смогу и что было бы лучшим убеждением в этом важном мероприятии — это личный пример. В заключение утвердительно сказал, что я свободна, что я все поняла и что могу идти.

Я написала короткое заявление на имя замполита госпиталя и в конце рабочего дня, лучше сказать — на пересменке, потому что многие работали в разные смены, собрала в своей медканцелярии кого смогла, сказала, что долго не задержу, но дело важное — и зачитала свое заявление, а затем через некоторую паузу предложила, что если кто желает последовать моему примеру и помочь Родине в трудный час, чтоб тоже подавали заявление...

Через три дня в госпиталь поступили четыре повестки и одна из них была на меня... Домой я шла, наверное, часа два, хотя нормального ходу было минут пятнадцать, все старалась придумать, как бы обо всем этом сказать маме так, чтоб поменьше причинить ей горя, и без того уж закаменевшей от напастей и бед. Была ранняя весна 1943 года, начало марта. Улицы освещены плохо, с крыш капало, снег, изъеденный сажей, почти сошел, под деревянными тротуарами хлопала вода, проступала в щели. Возле детского садика на еще голых тополях, будто старые гнезда, зловеще замерли вороны, в иных дворах изредка, как бы досадуя на ненастье, лаяли собаки. Сыро, мрачно, неприятно было вокруг и холодно внутри.

Пришла домой, разделась, приспособила мокрую обувь к неостывшему еще шестку, вымыла руки, коротко побренчав ручкомойником, съела кусок хлеба — норму — со стаканом молока, оставленные мне на ужин, и залезла на печь. Мама щепала лучину на растопку, папа, скудно поужинав, уже в рабочей спецовке собрался в ночное дежурство — скрутил сигарку, но раскуривать медлил, обычно он раскуривал ее перед самым выходом из избы, чтоб не дымить дома. Все спали, вольно раскинувшись на широкой постели, разостланной на полу. Калерия еще не пришла с работы — она тоже с недавних пор работала во вновь открытом госпитале в бывшем железнодорожном клубе бухгалтером.

— Мама... Мам... — заговорила я виновато. — Меня на фронт отправляют... Ну, не отправляют... добровольно я...

Мама невидящими глазами посмотрела в мою сторону, выронила из рук нож, сильно дагнула себя в грудь, зажав лицо руками, пошла в сенки, как в пустоту...

Папа заложил изготовленную большую, как карандаш, сигарку за ухо, в задумчивости погладил колени, кашлянул, посмотрел на разоспавшихся ребят и не то спросил, не то сказал как бы сам себе:

— На пече-то тепло?

— Тепло, — согласно отозвалась я чуть слышно...

— Значит, на войну собралась? — помолчал. — Ну, надумала, дак че сделаешь? Поезжай... А теперь слезай с печи-то да в огород ступай, в ручье полежи, сколь стерпишь... На войне мало того, что все это есть, дак еще и стреляют... убивают друг дружку... — Еще посидел маленько, тяжело поднялся, взял стоявший у порога фонарь, оглянулся на печь и, ни слова более не сказав, вышел из избы, впусив по низу холодный воздух.

Поезд уходил рано утром. Мама молча, с сухими уже глазами, с резко проступившими красными прожилками на лице и угольно-черными губами, сидела на лавке у торца стола. Когда я умылась и собралась ее обнять, повиниться, то она лишь дотронулась до моей спины, до головы, взглядом показала на часы и пододвинула ко мне прикрытую полотенцем тарелку с горячими еще пресными шанежками из пшенной каши и стакан молока. Вот тогда я по-особенному почувствовала-поняла, отчего же плачут старики! Давясь, ела эти шанежки, которые мама — я не слышала когда она топила печь, стряпала и поливала их, эти незабвенные пшенные шанежки, горячими слезами вместо сметаны... Я съела две, чтоб досталось по шанежке всем, но мама завернула оставшиеся в тряпицу и осторожно положила сверху в старенький солдатский вещмешок, выданный мне в госпитале. Там же мне дали и телогрейку из БУ, мол, возможно, даже в пути переобмундируют и все домашнее выбросят — кому оно нужно там, на фронте?..

В Перми в вагон подсели девчата-пермячки и из районов. До Москвы мы ехали уже почти укомплектованным подразделением — так мне тогда думалось. В Москве на вокзале нас почему-то встречал лейтенант в обмундировании летчика. Когда поезд остановился и мы вышли из вагона, услышали громкий оклик: «Девушки, будущие военнослужащие, прибывшие из Перми, просьба подойти к тупику третьей платформы и никуда не расходиться». Летчик наш шел впереди, шага на три, опустив голову и, наверное, недоумевал, за что ему такое наказание — сопровождать этих полудеревенских девок, которым отчего-то не сиделось дома и не терпелось добить врага в его берлоге?!

Мы снова ехали в поезде, в общем вагоне, тесно разместившись на полках, особенно на нижних, проезжали мимо полуразрушенных, а то и дотла уничтоженных селений и маленьких городов. Проехали город Клин, даже не город, а землянку-шалаш с прибитым к невысокому шесту деревянным щитом, на котором смолой или углем было написано «г. Клин» и желтенько светила одинокая лампочка. В Калинин нас высадили, и мы долго стояли, как бы прижавшись к уцелевшей от разбитого здания стене, она покачивалась, и всем нам казалось: вот-вот она покачается еще маленько и рухнет, и завалит нас, юных защитниц родины,

которые еще и форму военную не поносили и никаких подвигов не совершили... Было раннее утро, улицы пустынные, немногие из домов казались жилыми, большинство с выбитыми окнами, с провалившимися крышами... Часто проходили туда-сюда военные машины, затем промаршировала откуда-то взявшаяся рота моряков и громко, разногласно, но угрожающе запела:

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!..» У меня мороз пошел по коже, и я тогда, хотя все еще отдаленно, но поняла, что близко война, фронт. Нас то соединяли, то разъединяли, то мы были в Вышнем Волочке, то в Бологом.

Обмундирование подбиралось тоже не просто, ведь были среди нас и толстые, и худые, и высокие, и низкорослые — все как в жизни. Сапоги мне достались самые маленькие — как объяснил старшина — 39 размера, вместо тридцать третьего! Нетрудно представить, как я в них себя чувствовала и что за вид был со стороны. Нас — не знаю, зачем и почему — очень часто заставляли заниматься строевой подготовкой, и с этим делом у меня было не просто плохо, а из рук вон, хотя я и старалась, как могла и умела. Какое-то время мы были одеты в брюки и гимнастерки, большинство портянки наматывать как следует не умели, но у меня все-таки был некоторый опыт, потому что в детстве нам папа плел лапоточки, легкие и мягкие и как бы по размеру, мы наворачивали старенькие холщовые, бывшие посудные, значит, узенькие и недлинные полотенца, и ходили в этих ботинках на покос и по ягоды. Но под большой размер сапог мне никаких казенных портянок не хватало, и я наматывала, что имелось и что хоть сколько-то помогало, вплоть до носовых платков, а после принаровилась: подрезала солдатскую нижнюю рубаху, разделила отрезанную полосу по боковым швам на две половинки и пускала в ход. Но во время занятий строевой — когда: «Выше ногу, тверже шаг!» — на икрах обмотки не разматывались, зато носок сапога «гулял» туда-сюда — как хотел! Я слышала тут же команду: «Отставить!», но все повторялось, как я ни старалась: опять нога выше, а носок куда хотел, туда и вихлял. Я и наряды получала, и отдельно, «на людях», как говорится, меня подолгу гоняли, только толку все равно было мало, зато всем было весело, все смеялись, не проявляя никакого ко мне сочувствия, я терпела не только обиду, но и унижение. У меня ногами нестерпимо болели ноги, можжали, как сказал бы папа.

А уже в Коростене, куда была дислоцирована наша часть и где нам стали — так удивительно, трудно и поверить, но так было! — курящим выдавать легкий табак, а некурящие могли получать по две пачки галет. Я, никогда не курившая, стала копить табак, и за табак сапожник-еврей мне перешил сапоги, подогнал по размеру — из больших маленькие сделать легче, чем на-

оборот! Вот уж тогда я, как говорится, стала «гарцевать», еще не ведая беды иной, меня уже подкарауливавшей.

Нас по-прежнему часто заставляли «маршировать», то есть ходить строевым шагом. Условия в Коростене были лучше, нас расквартировали по пустующим домам, поскольку фронт был ближе, население, взяв необходимое, вместе со скотом уходило в укрытия, говорили — в леса. Мы расположились в просторной кухне. В дальнем углу настелили на пол соломы, старшина дал две палатки, чтоб накрыть ее вместо простыней. В летней избушке с провалившимся потолком взяли подушки, пообсушили на солнце, когда оно показывалось, там же взяли одеяло, стеганное из разноцветных клинышков, освободившись от работы, и если не бомбили, зажигали керосиновую лампу, висевшую над столом, и писали письма, упочинивались, тщательно осматривали нижнее белье, потому что насекомые, называемые вшами, хоть и меньше, чем в Затворце, но еще водились, и мы с ними боролись, как могли: снимали со стены лампу, устраивали ее на табуретке, снимали стекло и прожаривали швы, особенно у лифчиков. Сидим, бывало, среди ночи, как обнаженные махи. Окно занавешено — свет на улицу не проникает, и у каждой вокруг груди розовые болезненно-зудящие ободки — вши накушали; таким же манером прожаривали и ворота гимнастерок.

Мы и письма писали при слабеньком свете лампы. Писали в торопях, поскольку посыльный, проходя перед нашими домами, свистел, засунув два пальца в рот, что означало, что скоро и к нам зайдет, а ждать он не любит, встанет на пороге распахнутой в избу двери, сапогами упрется в притвор, а спиной навалится на косяк и все торопит: «Девки! Быстрее! Ждать не стану, еду и тогда ваши предки сроду писем не дождутся!..» Закуривал, скучающим взглядом обводил помещение, двор, нас, и спустя короткое время снова: «Девки, пишите скорее! Ждать не стану! У меня еще дел этих его-го-го! И везде ждут!..»

И мы торопились, писали о главном, о том, о чем можно писать, — уж это-то мы знали точно! Но ведь написать — одно дело, но надо же еще, чтоб чернила высохли, иначе размажется — и всем колхозом не разобрать. Значит, сушили чернила тоже над коптилкой — от лампы свету мало, ярче нельзя, «рама» налетит тут как тут! Однажды я уж почти досушила свое письмо, да на беду затлел угол листа, почернел, а переписывать уж некогда. Так я и сложила письмо треугольничком — дело это привычное — и вместе с другими отдала ожидавшему почтальону.

Отправила и отправила, вроде и на душе полегчало, потому что знаю, как дома ждут весточек наших. И уж спустя много-много лет после войны, уже в Вологде, вдруг получаю письменно-приглашение из чувовской когда-то детской библиотеки, куда

мы частенько ходили брать книжки почитать, а потом я писала сама письмо в родную библиотеку уже насчет того, чтоб нам присылали книги — библиотеку-передвижку — на нашу полевую почту, мол, для того, чтоб и политбеседы проводить, и почитать, когда бывает возможность. Я то письмо писала с Украины, из-под Жмеринки. И книги нам приходили, мы читали, чаще вслух, затем отправляли обратно и снова ждали посылки с книгами... Кстати, это, в общем-то, и свело нас с Виктором, теперь Виктором Петровичем, но об этом позже. А тогда...

Получила я то письмо-приглашение, поговорили с мужем — ехать не ехать — решили, что надо поехать. И я поехала.

Заведующая сообщила о том, что здесь присутствует и когда-то юная совсем читательница, теперь вернувшаяся с войны в чине старшего сержанта, Мария Семеновна Корякина-Астафьева. Сказала и о том, что вот уж сколько лет у них в архиве (или фонде) хранится удивительное письмо, и стала читать его. И чем дальше она читала то письмо-заметку, тем я больше краснела от смущения... А оказалось все просто. Однажды встретил нашу маму сотрудник газеты «Чусовской рабочий» — родителей моих и семью нашу, такую большую, в таком небольшом тогда городе знали очень многие. И он остановил маму, поздоровался и спросил, мол, как здоровы, Пелагия Андреевна? Чего ребят с фронта пишут? Кто где? Она и сказала, что вот недавно от Марии письмо пришло, только какое-то странное, я, мол, поначалу даже и напугалась — уж все ли ладно? Уж жива ли?

А сотрудник газеты все больше, все подробнее расспрашивает маму, и тогда она предложила ему зайти к нам домой, и она это письмо показала... И он зашел, и посмотрел письмо, и перечитал. И вот в газете заметка о моих родителях-тружениках, о большой семье, из которой пятеро на фронте. Что недавно пришло письмо от средней дочери Марии, с Украины, мол, письмо, полное патриотических раздумий, опалено пороховым дымом... и дальше в таком же духе.

Я, теперь уж дело прошлое, и сама когда-то работала журналисткой, но чтоб так лихо все преподнести! До такого я додуматься или дойти не сумела бы, отобразить солдатские будни так не смогла бы!..

Наша часть стояла еще в Коростене, когда однажды привезли туда вагон-баню — такое чудо в тех условиях, в той жизни. Мы с Тоней Болотской были в наряде и потому мылись в последнюю очередь. Банщик заждался, недовольство стал проявлять, что торчит тут из-за двоих соплюх, а ему еще сколько «пунктов» обслужить надо! Все ждут.

— Вы бы вышли из вагона... мы же быстро вымоемся... а при вас... — нерешительно попросила Тоня.

— Че-ево-о?! Да я вашего брата перевидал... сосчитать невозможно! Один вагон банный на такую округу... Вы че, засранки, думаете?! Видите ли, им надо, чтобы я ушел, а я тут за все отвечаю, за каждый винтик-шпынтик и за порядок... Живо мойтесь, а не то... возьму и уеду... вот и ждите тогда, когда опять такая удача — помыться — выпадет...

Мы открыли воду, сделали в меру горячей, встали под душ, повернувшись друг к другу, и принялись мыться. Вымылись, оделись, шинели накинули, головы полотенцами замотали и, опустив глаза, быстро прошмыгнули мимо банщика и уж только у выхода из вагона-бани сказали: «Спасибо». А он:

— Ох, девки, девки! Вы ведь в дочки мне годитесь... Чем на стеснение время тратить, получше вымылись бы... Ну, бывайте живы...

Скоро подали паровоз, и покатила баня дальше: наберет воды и к другим, чтоб и другие телу праздник устроили... дело такое...

А беда, о которой я обмолвилась выше, была уж совсем недалеко, потому что недалеко была уже и осень, а значит, и зимнее обмундирование, а значит, и шинели. Эту беду не беду я поначалу переживала до наивности легко. Пока было тепло, обходиться можно было без шинели, когда прохладно — если не на глазах у командиров, то накидывала на плечи... Однако в наряд идти, особенно дежурить при штабе, нужно было быть, как говорится, при полном параде, чтоб все по форме. Однажды я уже пережила конфуз, за который получила наряд вне очереди. Ночи на Украине темные, местность еще незнакомая, смена караула в двадцать четыре ноль-ноль.

Только не состоялось тогда мое дежурство — я не нашла свой штаб. Ночь темная — хоть глаз выколи, кругом тихо, ни выстрелов, ни огоньков, только лягушки квакают где-то возле недалекого ставка — маленького, искусственно вырытого, дождями да ключиками наполненного, по берегам осокой, какой ли другой водолюбивой растительностью окаймлено — красиво так! В таком ставке, ближнем к нашей хате, мы и бельишко стирали, и мылись, когда до пояса, когда «по частям». Вот возле ставка и квакали лягушки. Я уж раза три к нему подходила, а толку? Иду обратно, зная лишь одно, что если идти долом, то хату свою или соседскую не миную, а если дойти до горы и взойти на нее — вот он, наш штаб! Но до горы я так и не дошла, переживала, что дежурный ждет не дождется, а сменщик аховый заблудилась в трех соснах... И вдруг услышала: коза блеет, одиноко так, жалобно. Откуда взялась, чья — не знаю, но обрадовалась живому звуку и пошла на ночной плач той козы, белевшей расплывчатым пятнышком. Подошла, погладила и сама заревела, говорю, милая ты моя коза, видать, тоже, как и я, заблудилась...

дилась, зачем на ночь-то глядя ушла из родного стойла? Глажу и плачу, и уговариваю, как разумное существо, мол, ты бы хоть дорогу нашла, а там бы мы уж с тобой разобрались — кому куда. Вдруг коза блеять перестала, шарахнулась от меня — и жутко мне так сделалось... Позже я прочту у поэта Николая Рубцова стихотворение «Вечернее происшествие», очень близкое мне по тем пережитым чувствам.

Мне лошадь встретила в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных — не встречаться!

И снова я, в который уж раз, получила наряд вне очереди, хотя потом оказалось, что я почти неделю страдала «куриной слепотой» — болезнь такая, когда ничего не видишь и не различаешь в потемках. В другой раз я ко времени явилась в штаб, чтоб сменить дежурного, одетая по всей форме. Топила печи, заправила керосином лампы, навела порядок. Управилась, когда рассветало уже, но для начальства час работы еще не настал. Слышу скрип ступенек на крыльце, у входа я встала по стойке «смирно», автомат к ноге, жду. Первым вошел старший лейтенант — оперуполномоченный. Я, прихватив длинный рукав шинели, козырнула офицеру, подала руку для рукопожатия и, вытянувшись во весь свой небольшой рост, приготовилась слушать наставления. Но за нашим старшим лейтенантом шел еще один незнакомый офицер. Я и ему козырнула, прихватив рукав, и опять, как охотничья собака делает стойку, почувствовав звеня или птицу, я стремительно вытянулась по команде «смирно», но гость тоже протянул мне руку, чтоб поздороваться, а я забыла предлинный, вовсе не по мне, рукав шинели... Он поискал, поискал мою руку — не нашел, потряс за рукав и последовал за старшим лейтенантом, а спустя малое время раздался из каби-

нета зам. нач. штаба такой хохот, от которого меня сначала покорило, а потом градом покатались по щекам слезы.

Днем вызвал меня к себе старший лейтенант. Явилась.

— Вам кто выдал такую шинель?

— Старшина, товарищ старший лейтенант.

— Но она же вам не по росту.

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— А что, более подходящей, ну, поменьше подобрать вам не могли?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант, сказали, что для малолеток шинелей еще не нашили...

— Снимите и положите ее вон там, лучше повесьте на вешалку.

— Есть, товарищ старший лейтенант.

— Вы свободны. Да, передайте старшине, чтоб немедленно явился сюда!

— Есть, товарищ старший лейтенант.

Сашку Манину все запросто называли по имени и фамилии, к ней так шло: Сашка Манина, Сашка Манина. Она и сама это знала, слышала и не обижалась, только со строгостью предупреждала, чтоб не при начальстве. Крупная, веселая, курносая, с кудряшками, которые, казалось, она и не расчесывала никогда, но все ее обличье и эти кудряшки очень располагали к ней, доброй, надежной, услужливой и всегда справедливой. И всем казалось: не будь у нас Сашки Маниной, проспали бы все, наголодались бы, обносились, сделали бы видом и поведением как пещерные.

Старшина Сашка Манина не сердилась, что из-за меня получила нагоняй или выговор, но через два дня, обмерив меня вдоль и поперек, сняв шнурком мерку, отмечая узелками длину рукава, ширину плеч, талию, отправилась в Жмеринку, а спустя еще два дня вручила мне новенькую шинель, заставила тут же ее надеть, пройтись, изобразить выправку — и осталась очень довольна, обо мне уж и говорить нечего — я даже спать в ней была готова, чтоб поверить, что вот она, моя шинелька, ладная, красивая!.. И домой в письме написала, что выдали нам новые шинели, моя на мне, как влитая... Но как поется: «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Я уж сказала о том, что нас разбили по отделениям, и строевой мы стали заниматься по отдельности. Я, коль меньше всех ростом, то была первой, ведущей, то последней, замыкающей — и это ничего, но когда начались команды, то левое плечо вперед, то правое, то кругом, то опять кругом... А я же от роду левша и все время на этих занятиях пребывала в большом напряжении: левое, значит, сюда, правое, значит, туда, кругом — тоже понятно, но когда оказывалась первой (ведущей) и должна была точно исполнять команды: «ле-

вое плечо вперед», «правое плечо вперед», старалась следовать как положено, но под конец начинала путаться, и однажды дело кончилось тем, что все ушли вперед, а я, одна себе, под команду «выше ногу, тверже шаг» лихо — в обратную. Капитан Молочков, руководивший этими занятиями, сидя на ящике из-под патронов, так захохотал, так закрутил головой, что фуражка свалилась, а он, трясясь спиной, только поднимет голову, только глянет, как я вышагиваю «выше ногу, тверже шаг», но совсем в другую сторону, снова уронит голову. Когда всем отделениям была отдана команда «вольно!», и нашему тоже, — я оглянулась, как далеко упоролась от своих, со всех ног ринулась их догонять... Тут уж, как говорится, кошке игрушки, мышке слезы...

Но и потом бывало всякое и не только со мной. Я ничего не рассказываю о своих военных успехах и неудачах, об этом куда лучше знает и помнит мой муж Виктор Петрович, бывший на фронте и разведчиком, и связистом, и, став писателем, пишет об этом достоверно и блистательно и не в одном произведении. Я же все стараюсь подойти к тому времени, когда и как нас свела с ним судьба.

А всякие негражданские, военные злоключения случались не только со мной. К примеру, была в нашем отделении Соня Валиахметова и мы все осуществляли над нею как бы шефство в определенном смысле. Она, татарочка, скромная, серьезная, исполнительная, часто, если не постоянно говорила: «Я ел, я ходил, я сделал, я дежурил» и так далее. И мы ее то поодиночке, то и хором поучали:

— Соня, надо говорить: я ходила, я сделала, я принесла. В общем, все в женском роде. — И однажды, когда ночью была объявлена тревога и построение, и команда «По порядку номеров рассчитайсь!» — мы четко отзывались: первый стрелок, второй стрелок, но когда очередь дошла до Сони, она громко и четко отозвалась: «Сетмая стрелка!» — снова смех и слезы. И потом, в столовой или за работой она вдруг с горькой обидой выговаривала нам: «Почему так учите, а потом смеетесь? Сами же учили, как говорить по-русски правильно надо: «я ходила, я сделала...», а сетмая стрелка — не правильно! Почему?»

Однажды, когда наша часть находилась на Прикарпатском фронте, нас на все лето отправили в маленький польский городок на разгрузку — завал там получился, скопились горы мешков с почтой. Из писем, идущих с фронта в тыл, и особенно из тыла на фронт, мы знали многое, о чем нигде и никто не сообщал и теперь уж не сообщит... Как правило, при всяком отделении военной цензуры были руководители оперативных групп, а в помощники им назначали пять-десять человек из нашей части. Мне тоже доводилось, так сказать, быть не только цензором с

присвоенным мне номером на штампике. Этой небольшой группе помощников надлежало не только читать письма «особой важности», но и «пикировать», то есть выбирать наугад пачку из проверенных уже писем и проверять тщательно. А надо сказать, что работа эта не простая и не легкая. Ведь многие, иные не по разу, болели чесоткой — письма же шли отовсюду: и из окопов, и из санбатов, и из населенных пунктов, бывших «под немцем». В помещении, где стояли длинные столы и за ними сидел и шуршал письмами наш брат — военные девчата, ехавшие воевать, а не выискивать в солдатских и в письмах из тыла какие-то тайные сведения, возле двери был прибит умывальник с соленой водой, и мы, иногда в очередь, почувствовав зуд на ладонях, меж пальцев, жестоко царапая ногтями, мыли руки круто соленой водой. Иногда это помогало, иногда нет и тогда приходилось обращаться в медчасть, где работали два мужика; один вроде бы фельдшер, злой, подозрительный, с усохшим лицом и тяжелым, колючим взглядом, особенно гораздый на слова, выражения и действия унижительные, обидные, жестокие, — он никогда не выбирал выражений, никогда не спрашивал о самочувствии, никогда не предлагал лекарств, зато отводил душу на пациентах, как на лютых врагах. Помощник его, Володька, был смазлив, играл на баяне, и никто никогда не видел его за работой. В общем, плохо приходилось тем, у кого чесотка перекидывалась на спину, на бедра, на голову. Давали мазь, но за какую унижительную цену, когда надо было выслушать такое, от чего, как говорится, уши вянут... Володька потом женился, а тот, иссохший от злости и наглости фельдшер, удобно и безопасно устроившись, вершил произвол.

Когда и я была зачислена в оперативную группу — мы стояли тогда в Большой Крошне, — чуть было не угодила в штрафную роту... Я должна была выписывать меморандумы и подлинник письма, заклеив и проштамповав — все по правилам, — отправить по назначению адресату, а меморандум вложить в другой конверт и отправить в СМЕРШ фронта. Мы часто работали от темна до темна, иногда при слабом освещении от движка, иногда при керосиновых лампах. Руководитель группы положил передо мной стопку писем, с которых надлежало мне выписывать меморандумы и поступать согласно предписанию. А работа цензора, о чем я уже обмолвилась, — мало сказать, что трудоемкая. Если даже не читать письма, особенно тексты на конвертах, то все равно хотя бы нужно вскрыть письмо, срезав узкую кромку слева, затем хотя бы перевернуть, согнуть ли вдвое само письмо, заклеить и подложить, подоткнуть под себя сбоку, чтоб заклеилось. Таким же манером заложить как бы проверенные письма с другого боку, и ты уж как бы провиснешь между веерами торчащими по обе

стороны заклеенными письмами. Когда накопится другая партия, эти достаешь, штемпелюешь и отдаешь дежурному, который сунет туда-сюда, раздавая или собирая уже прочитанные письма, и дает новую партию, иногда по благу: большей частью в той партии торчат уголки, с которыми дело шло быстро... Я и по сию пору, хотя уж не с той сноровкой, но все равно быстро стряпаю пельмени, особенно защипываю: беру пальцами обеих рук сочень с мясом, сильно даваю на концы, затем еще разок, уже посередке — и пельмень готов! А треугольник и того проще: три пальца обеих рук наготове, указательные как бы запускаешь вовнутрь, в сгибы уголка с той и с другой стороны с ходу разворачиваешь, глянул, что сверху нет, к примеру, «привет с СЗФ», что означало Северо-Западный фронт, пробежишь сверху вниз, не вникая в текст, не задерживая внимания, таким же манером складываешь, шлепнул штампик — и дело сделано! Задержки случались иногда только из-за того, если уголок-письмо был прошит нитками или тонкой проволокой, тогда надо непременно распороть. Да еще случалось, что штамповали и национальные, хотя в конце стола сидели три мужика: два казаха и латыш, и им надлежало проверять те не по-русски написанные письма.

К концу рабочего дня так у нас болели ягодицы, что мы и ужинали стоя и не чаяли упасть на постель, тут уж не до танцев, которые иногда случались, не до гуляний, даже не до того, чтоб пойти в одичавший сад возле штаба, где росло много черешни, груш, слив и яблок, и мы часто бесшумно расходились и, бывало, не только наедались досыта, но и набирали с собой в кошелки, взятые у хозяев напрокат, на временное пользование.

Однажды вызвал меня к себе подполковник Ктиторов, начальник политотдела, и как только я остановилась у порога и доложила, что явилась по вашему приказанию, начал на меня кричать, брызгая слюной, топая, подбрасывать на столе какие-то бумаги. Долго кричал и топал, затем, приоткрыв дверь, окликнул часового, приказал снять с меня ремень и погоны и велел пока отвести меня под конвоем в дом, в котором мы жили вчетвером. На другой день переселили к Федотовне — симпатичной и разговорчивой женщине с черными блестящими, даже игривыми вроде, глазами, что-то ей сказали и наказали, она согласно покивала головой, однако отношения ко мне не изменила и, если никого не было, поила парным молоком, угощала крупными сизоматовыми сливами, под настроение рассказывала, что у нее есть муж Тимохвей, который обещает приехать в отпуск, и сын Иванко, тоже воюет — писарь он, потому что грамотный, и тоже обещали ему отпуск, только когда это еще будет?..

Днем Федотовна почти не бывала дома, то ли занималась какой работой, то ли гуляла по гостям, часто мазала в хате пол и бе-

лила ее снаружи — все ждала дорогих гостей. Огород был большой и пышный, но засаженный только наполовину, вторая половина была засеяна кукурузой и подсолнухами. Я уходила в огород и подолгу лежала в этих высоких и красивых зарослях. Лежу, гляжу на высокое небо, рассматриваю блестящие ремни — листья кукурузы и мохнатые исподу, большие, как лопухи, листья подсолнухов и жду, когда за мной придут и поведут на допрос, и опять будут топать и кричать, винить и уничтожать словами да грозными обещаниями, что плачет по мне штрафная...

Когда дневали-дежурили у штаба наши, свои же девчата, виновато сообщали, что велели привести меня к замполиту, шли рядом и рассказывали про жизнь и про работу, но если кто показывался на виду из командиров, тут же строже голосом, приказывали идти на два шага вперед, чтоб ни шагу ни влево, ни вправо, а идти куда велит-приказывают...

Иногда приносили еду: завтрак, обед и ужин, и я вела счет времени именно по тому, когда приносили еду. Я много, почти постоянно беззвучно плакала, глядя на небо, на зелень, на все живое и такое прекрасное на земле даже в военное время, чего я не очень прежде и ценила в обычной жизни. Я плакала не от того, что жалела себя, нет, я плакала, когда пыталась представить себе позор и горе, который предстоит пережить моим родителям, узнав о моем предательстве, о котором я и понятия не имела, но о котором мне постоянно, с гневом и нецензурными словами напоминал начальник штаба, иногда в кабинете появлялись еще какие-то военные и тоже чинили надо мной словесный пока суд. Когда меня уводили обратно, я снова уходила в огород, снова ложилась среди подсолнухов, как бы в свое убежище, лежала, плакала, страдала без вины виноватая и однажды вспомнила того молодого солдата — «самострела», которого лечили, на которого топал ногами, орал замначальника госпиталя по политчасти до хрипоты и все повторял: «В штрафной опомнись, маму кричать будешь... пока не прикончат, как последнего гаденыша...»

Комнатка-палатка, где содержался преступник, «самострел», дезертир, гаденыш, изменник родины — так и еще по-разному его унижительно клеймил позором и оскорблениями замполит госпиталя, — была за стенкой моей медканцелярии, и я вольно или невольно была тому свидетелем. Паренек тот, в нижней рубашке без пуговиц, в кальсонах — тоже без пуговиц: видать, боялись, чтоб не убежал, хотя за дверью, как бы в тамбуре между канцелярией и гауптвахтой, постоянно находился часовой, скука, иногда грозил подконвойному кулаком, мол, из-за тебя тут торчу как истукан. А чаще всего, похожий на болгарского Алешу, только совсем юный, лежал, молчал, накидывал на голые ноги угол простыни — одеяла не было — и пел!.. Особенно вече-

ром, когда начальства не было, пел не звонким молодым голосом, а приглушенным, нередко прерываемым всхлипами:

Не для меня-а весна-а-а придет-о-от,
Не для меня Дон разольется...
И сердце радостно забьется
Восторг-ом чувств не для меня.
Не для меня-а-а зелен-ый лес
Сверкнет алмазными лучами,
И девка с черными очами
Хранит любовь не для-а меня-а-а...

Паренек тот иногда пел песню дальше, но тех слов память моя не сохранила, иногда всхлипывая шмыгал носом, как дитя, и либо дремал, либо молча, недвижно, обреченно лежал, ко всему уже готовый... Я несколько раз приносила табак-самосад, которого у папы было на вышке полмешка, даже больше, один пакет отдавала часовому, другой просила передать осужденному, чтоб не выдали меня, чтоб не лишили солдата перед смертью последнего удовольствия... Мне было не по себе, когда он надолго замолкал, дать бы ему книгу какую почитать, чтоб время шло побыстрее, да разве ему до книжек?! Да и не положено. Положено только думать — хоть сколько и хоть о чем... Как вспоминал и тот, молоденький солдат английской армии, юный поэт, написавший в своей как бы дневниковой тетради, найденной в полевой сумке, когда он был убит:

И если друзья, со слезами во взорах,
Меня закопают на том берегу,
Жалею девчонок, — тех самых, которых
Обнять никогда не смогу.

Я уехала на войну. «Самострел» остался. Что-то с ним стало?... А меня еще долго, недели две, может вечность, водили на допрос, на меня кричали и топали, потом я снова лежала среди зеленой благодати, думала, плакала, переживала, слушала стрекотанье кузнечиков, даже завидовала им. Однажды, когда во мне уже поселилась равнодушная усталость, равнодушные ко всему и стало казаться, что душа умирает раньше тела, — хотела только одного: скорей бы уж все... чему быть — не миновать. Устала ждать... устала жить... За мной снова пришли, чтоб сопроводить в политотдел штаба. Я покорно поднялась, поправила, отряхнула юбку, гимнастерку, по привычке хотела надеть ремень, но опомнилась, на небо поглядела, вокруг и, склонив голову, уставившись на знакомую и уже ненавистную тропу,

пошла впереди дежурной. Остановилась у порога и стала ждать, опустив голову, когда начнут кричать и топтать, и называть меня изменницей родины, уже, мол, успела, хотя на губах еще материнское молоко не обсохло...

— Мою мать даже словом не задевайте!.. Она нас, пятерых, отправила, отпустила... отдала на войну, а не в тюрьму!.. — высказалась, не обратившись к офицеру по званию, не спросив нас то разрешения...

— Знаю, — вдруг неожиданно тихо, вроде даже виновато, отозвался на мою дерзкую выходку начальник политотдела.

И тут мне показалось, будто я не на полу стою, а на раскаленных углях. Поняла: значит, проверяли, кто из родных находится на фронте, что за семья? Всех проверили, однако, подумала я тогда совсем уж отрешенно: теперь уж точно отправят в штрафную. Ну и пусть... Ну и убьют пусть... чем такие унижения терпеть...

— Моя мама — мать-героиня! Вы мизинца ее не стоите! И вообще... Два моих брата уже погибли... А дома трое малых... А я, дура набитая, добровольно пошла на фронт, и сестра тоже... Мало вам этого? Мало?!

— Знаю, — снова проговорил начальник политотдела. — Знаю... Вы свободны. Можете неделю отдыхать и после приступить к работе. — Кивнул сопровождавшей меня, чтоб уходила и занималась делом вместе со всеми.

А я стояла, верила не верила — как-то было уже все равно, только ноги будто приросли к полу, хотя мысленно я переступала на все еще раскаленных углях. Не плакала, не шевелилась, стояла и стояла. Тогда подполковник подошел ко мне, собрался то ли помочь выйти, то ли похлопать по плечу, мол, всякое бывает. Меня всю передернуло, и я, не глядя на него, высоко подняв ногу, перешагнула через порог, еще постояла на крыльце, увидела «конвоиршу» — та ждала меня и уже держала в руках мой ремень и погоны, как больную, взяла за руку и повела меня, совершенно безвольную, к ставке, выбрала место посуше и поскрытнее, села, усадила меня рядом.

Мы, помню, и плакали, и молчали, умывались прохладной водой, утерлись ее носовым платком, еще посидели долго ли, коротко ли, она глянула на часы и сказала: «Пойдем, пообедаем, все уже отобедали».

Письмо мне отдали перед обедом. Я привычно разрезала с левого края письмо, до удивления короткое, а дочитала с трудом, еле разбирая слова сквозь слезы. Слезы капали на тетрадный листок, чернила расплывались...

«Милая Мила! У нас беда. Ливнем унесло из огорода всю землю вместе с посадками. Мама захворала, лежит, не ест, не пьет, только плачет да жалеет вас и нас, заставляя делать дела по дому. Папа работает, иначе как жить? Что будет — не знаем. Приезжай хоть ненадолго, может, вместе что-нибудь придумаем. На Толю пришла похоронка. Валя пропал без вести — это ты тоже знаешь. Сережа тяжело ранен в голову и в ногу, в тяжелом состоянии лежит в госпитале, в Москве. Дядя Ваня недавно вернулся домой, искалеченный весь. Мила, если сможешь, приезжай, пожалуйста, хоть на несколько дней. Мы так боимся за маму.

Да, а корову Девку, которую у нас украли в начале лета, я тогда тебе тоже писал об этом, — ее нашел Алеша Саитов, наш участковый милиционер. Он тогда нас, особенно маму с папой, очень поддержал, мол, жив не буду, если не найду вашу корову!.. И нашел! Ее увел татарин с татаркой, и поймали их уж около станции Всесвятской. В общем, корова молоком нас кормит, мама даже немного соседям давала в обмен на соль или на сахар. Ты постарайся приехать хоть на несколько дней, мама на это очень надеется...

Твой брат Вася».

Я не слышала, как подошел ко мне старший группы, взял письмо, прочитал, затем, сев за свой стол, еще раз перечитал, сочувственно повздыхал, подумал, затем поздравил меня.

— Пиши рапорт. На имя командира части. Я сам передам. Иди. Пиши...

Я плохо помню, как ехала, как добралась до дому. Помню только, как вышла из вагона, закинула за спину нетяжелый рюкзак — мне выдали сухой паек на неделю, кое-что еще добавили сверх положенного: три банки консервированных сосисок, в каких теперь бывает говяжья тушенка, смена белья, полотенце и всякая мелочь, — огляделась — нет ли кого из знакомых. У проходившего дежурного по станции спросила, не дежурит ли сейчас составитель поездов Корякин, мой папа? Он пожал плечами, мол, не знаю, может стрелочники знают или в кондукторском резерве спроси... Я не стала терять времени и быстро направилась в сторону родного дома. Шла то быстро, то медленно — ноги отчего-то нет-нет да и делались ватными, а то казалось, будто гири к ним подвешены... Однако завидев три стройных, высоких тополя, росших возле ручья в нашем огороде, — их далеко было видно — то шла, то бежала...

Мама лежала в маленькой своей спальне, отгороженной от печи до окна тонкой заборкой, на своем обычном месте, слышав мой голос, заохала, а потом, когда я склонилась над нею и прижалась к ее сухонькой груди, стала гладить меня по спине и

давать распоряжения ребятам, чтоб ставили самовар, чтоб молочка в кружку налили, хлебушка бы маленько отрезали, если не успели съесть весь... Когда самовар вскипел, Вася сбегал в баню, где после ночного дежурства спал папа, разбудил, позвал пить чай. Папа и поспать-то успел час-два, но поднялся, зашел в избу, увидел меня и, пересиливая в себе боль и тяжелые слезы, часто моргая, сел со мной рядом на лавку, по голове погладил, дотронувшись до погон на плечах, как-то испуганно отвел руку и, поглаживая по рукаву, заговорил:

— Как хорошо, што ты приехала... Тут на нас беда за бедой наваливаться стали... Што поделаешь... Одно время думали, что все — дальше не стерпеть: сил нету, вас дома нету... А когда уж огорода лишились, считай что... прямо хоть ложись и помирай... Хорошо, что ты, Марья, приехала, хоть повидаемся, хоть поговорим, посоветуемся... может, вместе-то чего и придумаем. Может, в военкомат сходишь, поговоришь, попросишь, чтоб оставили тебя, освободили от службы... да только что ты одна-то? Мужика не под силу, чтоб поправить наши дела, надсадишься только, надорвешь здоровье. Молоденькая же. Как хорошо, Марья, что ты приехала!.. Как хорошо... Прямо как знала.

— Ребята... Девка-то с дороги... Молоко в чулане в кринке должно быть еще, хлебушек по кусочку разделите... Я тоже поднимусь и сколько-то посижу с вами... Скоро те должны вернуться — на старый покос ушли. В логу, может, красной смородины наберут да по речке листа черной смородины нащипают — чай заваривать, может, где нарвут щавелью, крошим да вроде окрошки сделаем, молоком забелим — какая-никакая все еда. Надеяться не на что. Уцелел бы огород, так и лук зеленый и что из мелочи — все в еду бы уже пошло...

Пили чай, и мама неторопливо, с горькой тоской рассказывала, как все произошло:

— Ливень был страшный, дождь как стена, ручей в огороде начал разливаться, дичать прямо на глазах, только что избу не снесло... Мы с отцом уже и надежду на огород потеряли, ладно хоть корова нашлась... Дай Бог здоровья соседям да знакомым — не оставили в беде, пришли на помощь. После помаленьку рассчитаемся, кому молоком отплатим... Ребята тоже кому пособят в огороде убратся, кому на сенокосе. Не гляди, что еще не вошли в возраст, многое уж понимают и умеют...

У меня было в распоряжении без дороги еще четыре дня. Я с утра до вечера, не чувствуя усталости — да и стеснялась по домашним делам, — все была занята: варила еду, доила корову, стирала, мыла, чинила износившуюся одежку, присаживалась к маме, чтоб поговорить, послушать ее, как они тут. Про свои, про военные дела рассказывала мало, в общих чертах, что

работы бывает много, а так... сыты, обуты, даже яблок досыта поела, можно бы, так вагон привезла как гостинцы, ребятам на радость. Да как привезешь? Сама добиралась где как придется... а так все ничего. От Калерии получила два письма, в один конверт она даже вложила фельдиперсовый чулок, мол, вложила в разные конверты, но второй я так и не получила... Ну да не беда. Их часть где-то, по-моему, от нашей недалеко одно время стояла, потому письма доходили за несколько дней. Приходили соседки, рассказывали про свое житье-бытье, о своих, кто на фронте, кто раненый мотается по госпиталям, кто вернулся без ноги, без руки ли. Лизку нашу тоже ранило, рассказывала Нюра Исупова, она давно уж лежит в госпитале где-то под Пензой. Ранение не очень ее внешне покалечило — ранило в живот.

Я опять уезжала ранним утром, как и тогда. Накануне вечером зашли соседки — попрощаться, пожелать благополучного пути и скорейшего возвращения, принесли помаленьку подарочничков: первые, еще пупырчатые огурчики, носовые платки, чулки, пресные пироги с горохом. Я почти ничего не взяла, огурчик да пирожок. В военкомате дали бумажку — продовольственный аттестат, чтоб отоварила, но у того ларька шла такая битва, что Бог с ним, с сухим пайком. Ненадолго заходила в госпиталь. Многие как работали, так и работают, медсестры некоторые тоже добровольно ушли на фронт, Сергей Петрович — шеф-повар — дал вместо гостинца буханку хлеба да сахарину, чтоб вместо сахара в чай класть. Елизавета Петровна распорядилась, чтоб подобрали сапоги по ноге, которые поновей, да полтора метра полотна — мне и моим военным подругам на подворотнички...

В вагоне мне досталась верхняя, в мирное время багажная, полка — это даже лучше: никто не толкает, не велит потесниться. Сапоги старые, переделанные из больших, я отдала Васе, и он был очень им рад, потому что ботинки, чиненные-перечиненные, то и дело «просили есть», и папа не успевал их чинить. Хлеб разделила пополам и одну половину взяла в дорогу, другую оставила дома. В общем, чем могла поделилась, а уезжать было нестерпимо тяжело, особенно уходить из дому. Когда уместилась на верхней полке, положив под голову и сапоги, и пилотку, половину шинели подстлала под себя, а другой полкой прикрылась — иногда и хорошо быть маленькой!.. Ждала, когда тронется поезд... Сначала беззвучно плакала, и слезы текли в уши, за воротник гимнастерки — все думала о доме, о родителях, потом немного подремала, пока не услышала совсем близко, почти рядом, кто-то негромко и печально пел, слегка подыгрывая себе на гитаре:

Где-то за Курильской грядой,
Там, где скалы борются с волнами,

Повстречал рыбак на берегу
Девушку с оленими глазами.

Я с недоумением подумала: то с глазами дикой серны, то вот с оленими глазами... Однако стала слушать дальше, чтоб хоть немного прервать свои тоскливые мысли о разлуке с домом и с родными:

Подняла красавица глаза,
И они наполнились слезами.
И рыбак с отчаяньем узнал:
Девушка была совсем слепою...
Где-то за Курильской грядой
Пару повстречаете такую,
Тот рыбак, высокий и седой,
Под руку ведет красу слепою...

И я опять плакала. Мне было жалко слепую красавицу, жалко раненую Лизку Исупову, родителей жалко, себя... А сосед по вагонной верхней полке — нас разделяла невысокая вагонная перегородка — пел уже о другом, о море, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж... Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...

О подобном я уже где-то слышала, и не раз, и только пыталась представить певца: кто он, откуда, куда едет, и поет отчего-то все о возвышенно-печальном.

На третьи сутки поздним вечером я была уже в родной своей части, среди своих девчат, как оказалось, очень меня ждавших, и мы почти до утра, почти до подъема, проговорили.

Утром я явилась к командиру части, доложила, что прибыла к указанному времени. Он порассматривал меня покрасневшими то ли от бессонницы, то ли от забот, глазами на бледном, отечном лице. Тут вошел в кабинет подполковник Ктиторов, и я с еще большей ненавистью глянула на него, лишний раз убедившись, что ни жалость, ни любовь, ни доброта — чувства ему не знакомые, чуждые, только злость и ненависть, в нем — встал на стойке смиренно и обратилась к командиру части:

— Разрешите приступить к работе?

Он кивнул, я отковыряла и вышла из кабинета.

Через неделю нашу часть откомандировали на два месяца в небольшой польский городок — на помощь. Наш руководитель группы и адъютант командира части, оказывается, уехали туда, чтоб подобрать место расположения части, помещение, где нам предстоит работать, и попутно разузнать, где разместить наше подразделение на жилье.

Была середина жаркого лета. Мы долго ехали на машинах в маленький польский городишко. Приехали на место только ночью. Луна светила до жути ярко. Мы, глядя друг на дружку, сперва хохотали до слез, разминая затекшие ноги: только зубы да глаза у всех блестя, а лицо, и все, что на нас, было густо покрыто пылью, она скрипела на зубах, от нее першило в горле и щипало глаза. Была команда размещаться в длинном без перегородок помещении, даже без потолка, лишь под крутым сводом крыши, да щелями в одно бревно, по полметра в длину — вместо окон, на полу по обе стороны, от стены до стены, была разбросана солома и лишь посередине оставался проход. Мы сложили в изголовье свои небогатые пожитки, в основном вещишки, кинули на них пилотки и ремни да и поспешили к озеру, которое неподалеку светилось чистой, спокойной водой, — чтобы умыться, напиться, стряхнуть с себя пыль и усталость. Какое это блаженство после длинной, утомительной дороги! На том берегу, довольно крутом и голом, безмолвно, без купола, с пустыми глазницами стоял бывший костел. Его отражение в воде было красивым, без выбоин и трещин.

Мы полоскали во рту, жадно пили из ладоней прохладную воду, умывались, брызгались — одним словом — наслаждались.

Подъем в пять утра. Уже заведен движок, уже подвезена работа. В растворенную дверь избы было видно стаканы и тарелки с едой на столах, за которыми после еды мы будем работать. Гуськом, не то что ночью, полусонные тянулись мы к озеру. Я догнала подругу, и мы первыми оказались у воды. Только начали умываться, она отступила от воды, вскрикнула и перегнулась в пояснице — ее начало до судорог рвать. Утирая выступившие слезы, она в перерывах между приступами тошноты, показывала на воду рукой и пяtilась...

В воде, на дне озера перекатывались вымытые до прозрачности черепа, кости, кое-где еще и не расчленившиеся кости рук и стопы ног. Я онемела от ужаса. Тошнотворные судороги уже коржили и меня. А она, прикрывая рот ладонями, выпачканными зеленой слюной, отчего-то все просила: «Марийка! Не рассказывай никому... Не рассказывай», — а почему — я так понять и не могла. И не знаю, что и как было потом. Завтракали неохотно, вяло, многие не притронулись вовсе к мутному чаю и лишь во время работы одна из девчат в дальнем конце стола как бы вслух подумала: «Сколько же тут полегло...»

Я, если доживу и смогу, то напишу давно задуманное — о военных девчатах. Поведаю о тогдашней нашей жизни... О моих спутницах, которые свои лучшие, самые красивые и неповторимые годы жизни проводили в трудностях, опасных и иногда надолго затянувшихся не только неудобствах; и таких условиях,

которые не подходящи и противостественны для человека вообще, для молодых женщин и юных девчат — в особенности. Но коль все списывали наши руководители и командиры на войну, мы тоже терпели, исполняли, как могли и умели, приказания, часто неразумные, даже нелепые, день за днем, неделю за неделей продолжали сносить трудности и опасности, продолжали жить и терпеть и старались не растратить пока еще живую надежду на то, что «не все еще потеряно, мой друг», как поется в романсе, что останемся живыми, вернемся домой — и у нас еще столько всего впереди... хорошего и счастливого! Что мы еще молоды! Как сказал светлый человек и замечательный поэт:

Уплывают пароходы,
Уплывает в небо дым.
Годы, годы. Ах вы, годы,
Как легко быть молодым!

Когда мы вернулись в Станиславчик, в соседней части, на «сортировке», уже многих девушек, работавших на разборке почты, не оказалось, заменили их солдаты, комиссованные после госпиталей в нестроевую часть.

Однажды привез мешки с письмами веселый солдатик, однако на груди его хорошо смотрелась медаль «За отвагу» — очень редкая в ту пору награда — и орден Красной Звезды. Да еще гвардейский значок с отбитой в нижнем углу эмалью. Боевой солдатик — сразу видно! Сказал: «Здорово ночевали! — Рассмеялся широко, белозубо, веснушки по лицу разбежались. — Теперь я ваш покорный слуга, не в полном, конечно, смысле, просто буду увозить-привозить. А вы меня ждите... с нетерпением!» — весело пошутил, изобразил что-то наподобие «честь имею» — и удалился.

И правда. Мы все с радостью его встречали, может, немножко больше, чем других, хвалили, когда привозил «личные» письма. В нашей части первая познакомилась с ним, кажется, Рая Буйнова, родом из Ладейского поля, низенькая, фигуристая, певунья, любившая командовать. В тот день, когда привез мешки с письмами этот бравый солдат, Виктор Астафьев, дежурила как раз Рая. Нас в одно время формировали, и мы с ней угодили на первых порах в прифронтовую военную цензуру, в будущем иногда нас с нею, как и с другими, будут делить на группы или отделения и будем работать в разных местах, затем опять все соберемся «до кучи», когда работы сделается невпроворот. В нашей группе были девчата из Читы, из Улан-Удэ, с Урала, из Перми и Чусового, несколько из Латвии и Ленинграда. У нее

был муж, но они с ним скоро расстались. «Без радости была любовь», — говорила она о своем недалеком прошлом, в подробности не вдавалась, да никто и не расспрашивал — в Станиславчике я жила с Верой Бозыревой и Ольгой Ткаченко. Мы легко ужились. Тоня Болотская — ленинградка, у нее тоже был муж — инженер, бомба попала в тот дом, где он работал, и вместе с другими он был похоронен под развалинами, оставшимися на месте дома. Тоня помогла эвакуироваться свекрови в Семипалатинск, а сама, как и многие из нас, подала заявление и добровольно оказалась на войне, в нашей части, и с нею мы дружили до конца, пока она не уехала обратно в Ленинград, куда я собиралась непременно приехать к ней в гости, поскольку мечтала побывать именно в Ленинграде.

Однажды мы в потемках возвращались с работы по узкому переулку, в котором было по колено грязи, и мы шли медленно, перебираясь руками по плетню. Так шли до следующей, белеющей во тьме хаты и, когда ее миновали, снова отыскивали плетень и снова придерживались за него руками. Дошли до хаты, в которой жила я с хозяйкой Федотовной, не очень еще пожилой, хитроватенькой и неунывающей женщиной, я о ней уже коротенько сказала, когда меня переселили на жительство к ней — это у нее я отбывала домашний арест и потом осталась на жительство.

Ну вот, дошли мы с Тамарой Шустовой до моей хаты, ей идти дальше, почти в конец улицы, чуть не доходя до хаты, где жила Рая Буйнова. Тамара — русая, синеглазая девушка, малоразговорчива, редко улыбаясь, голос тихий и глуховатый, но слушать умела до удивления внимательно и как-то очень заинтересованно, что ли. Остановились, и я ей сообщаю, что сегодня получила из родной библиотеки посылку с книгами, что унесла ее домой во время обеда, чтоб не тащиться в потемках, и предложила зайти прямо сейчас, посмотреть, выбрать для себя почитать... И тут мы с Тамарой слышим: кто-то шлепает по грязному переулку и весело насвистывает. Услышав разговор о книгах, приостановился, порасспрашивал, что за книги, с сожалением признался, что сегодня он зайти не может и не только потому, что ноги грязные — лихо так сострил, — а потому, мол, что иду со свидания, с вашей, между прочим, подружкой — Раю провожал. Веселая история...

Тамара и тут смолчала, никак не отозвалась, сказала:

«До завтра» — и пошла дальше в ночь, к своему временному жилищу. А я в тон веселому солдату сказала:

— Веселая история — замечательно! Хорошие книги... для тех, кто буквы знает и читать умеет, — тоже очень хорошо!

Еще маленько поговорили и разошлись: я к Федотовне, солдат бравый — в казарму, которая рядом с клубом, куда мы иногда ходим на танцы.

Когда он опять привез мешки с письмами, нашел меня взглядом, кивнул, чтоб подошла, спросил, серьезно ли я говорила насчет полученной посылки с книгами, и если так, то он вечером зашел бы посмотреть. И мы с Виктором, с Витей, стали встречаться чаще, и теперь уж не всегда поводом были только книги. Как-то раз мы собрались у клуба, ждали, когда начнутся танцы. Витя сидел на лавке, неподалеку от колодца. Поздоровались, поговорили о том, о сем, тут подошла и Валя Уланова — тоже очень хороший, милый, славный и надежный наш братик-солдатик. Познакомила ее с Витей, а разговора не получилось: заиграла музыка — начались танцы. Ребята направились в клуб, Витя подумал и решил, мол, танцевать-то я не умею — у нас пляшут, бацают — ну, посижу, посмотрю... все равно делать нечего, так хоть музыку послушаю. Кстати, баянист-то хорошо устроился, на медпункте вроде и не появляется, а пикирует на баяне... ну да шут с ним, да и если бы не он — под кого бы вы танцевали?!

Танцы были и на другой день. С Витей увиделись снова у клуба, и он, оглядев меня, кивнул, мол, отойдем в сторону, и, когда отошли, заявил: если еще раз намажешь свои щеки — не поленюсь, принудительно разуюсь и портянкой сотру всю палитру с твоей... с твоего лица! Запомни! Господи! Я и без того страдала, что такая краснощекая, как доярка, как свекла, как баба рязанская... а он!.. Позже я ему признаюсь и в этом недостатке — что щеки красные — порода такая! Он отшутился, и мы направились долиной, к речке, журчистой, местами вовсе мелкой, в одном месте через нее излажен деревянный мост с перильцами из тонкоствольных березок, местами эти живучие березки выпрыснули веточки, тоненькие, мягкие, с нежными мелкими листиками. Остановились посередине моста, облокотились на гибкие перила, и Витя вдруг запел, да так хорошо, так красиво, задушевно:

Это было давно, лет пятнадцать назад,

Вез я девушку трактом почтовым,

Бледнолицая была, словно тополь, стройна

И покрыта платочком шелковым!..

Кони мчали нас вдаль, кони мчали нас в путь,

Словно мчала нечистая сила.

Попросила она, чтоб я песню ей спел.

Я запел, и она подхватила...

Витя допел песню до конца, помолчал. Я легонько прижалась к его плечу, даже не к плечу, а к локтю — так будет точнее, потому что мое плечо до его плеча никогда не доставало. А вокруг тихо. Лунная дорожка то рябит, то скроется.

— Я ведь и не предполагала, что ты так поешь: красиво, с чувством, душой поешь!..

— Че-о?! Хэ! Я когда парнишкой был, знаешь как пел?! Стекла дребезжали! Курицы нестись переставали!

— Вот тебе и сирота! Такой голосистый!

— Чего правда, то правда... — не то в шутку, не то с серьезностью, пусть и напускной, отозвался он. — В детдоме премию дали, за рябого парня!..

— Как это?

— А вот так. Спел про душеньку да про то, что я рябой и что на любовь дюже злой! — и захохотал, громко, беззаботно, весело. Он и до сих пор засмеется — тараканы валяются, — как любит себе подыграть.

Долгонько мы тогда постояли на том мосточке и замолчали ненадолго, потом он еще спел, уж вроде в шутку: «Милый, купи мне дачу, в городе душно мне жить, если не купишь — заплачу и перестану любить...» Знал бы да ведал, в каких дачах-дворцах нам еще доведется жить...

Часто, бывало, нагуляемся, придем к Федотовниной хате, сядем на лавку под окном и все говорим, говорим, потом уж и целоваться начали. Но только дело до поцелуев дойдет, Федотовна тут как тут, высунет голову в открытое окошко, хитро хохотнет и скажет непременно: «Марусь, кварта з молоком на столе стоит, пей да и спать лягай. И ты, хлопчик, иди до своей казармы, где все, там и тебе быть положено. Не последний день живете. Теперя уж не убьют, не последний раз увидите... Тикай до казармы, тикай, кажу!..» — И створку небольшого окна прикроет, а тут, миг спустя, и дверь в сенцы распахнет.

— Надо же, и тут командир сыскался?! Федотовна, а мне бы тоже квартиру, хоть молока, хоть самогону. Как с этим делом будет?

— Э-э, хороший хлопчик, а дурно заговорил! Тикай до казармы, кажу! Все!

Смех и грех. Когда Витя в наряд идет — они помогали местному населению — работали на конях, то возили чего, то еще что... Время идет. Я утром маленько задержусь дома, иду в столовую чуть позже — и как раз в это время Витя мой из наряда является или отправляется. Обрадуемся друг другу, даже мимоходом встретившись. И девочки из нашей части все его уже знали и очень одобрительно, даже уважительно к дружбе нашей относились. Не раз даже у клуба собирались просто так, не на танцы; ребята из казармы выйдут, которые на свидания отправятся, которые к нам присоединятся. И пойдут разговоры. Витя и тогда уж был «хлопушей», как в детстве называла его бабушка Катерина Петровна, которую я так ни разу и не увижу... Парнишке можно сказать безобидное «хлопуша», а Вите — солдату, боевому гвар-

дейцу, орденосцу, да такому видному, так и не скажешь — рассказчик, много уже читавший, да и о солдатах — друзьях своих по окопам — и про госпиталю, — знал, чего слушать веселее, приятнее и интереснее — страху и бомбежек, и убитых мы тоже уж повидали, и пленных не раз видели. Помню, как в Бологом вели фрицев в баню, строим, а женщины, изможденные тяжелой работой да нуждой, — с ними и дети, и старики — шли с восстановительных железнодорожных работ... Что тут было! Откуда сила взялась, не слезы, а обидная злоба. Кое-как конвойные их уняли, тех фрицев затолкали в какой-то двор и не выпустили, пока жители не разошлись, а то разорвали бы, глаза бы выкололи, искусили... нет, не знаю, представить не могу, что бы было...

Письма из дому пошли уж повеселее, если так можно сказать. Теперь, после того, как уж победа свершилась, — поздно или рано все равно демобилизуют. И я приеду, может, и Сергей вылечится. Сообщалось, что Калерия, возможно, к Новому году уж и дома окажется, поскольку ребеночка ждет и рожать приедет домой... Все это было для меня столь неожиданно, столь меня это настораживало и тревожило, что я уж вроде бы не очень хотела поскорее попасть домой. С Калерией мы и в детстве жили не очень дружно — я в семье средняя и писала о том, что меня то считали уж большой, то еще маленькой, — так в делах, так и в обновках, и во многом другом. А Калерия вроде все как бы на привилегии: ей все в первую очередь, если что получше да что полегче... Ну, тут уж такое дело: раз беременная — куда ж ей, как не домой? Только как разместимся-то все мы в небольшом большой, пусть и полуторатажной избе: внизу-то только кухня да спальня; сбоку от входа стояла мамина неширокая кровать, а за печкой — папина лежанка. На втором этаже — две комнаты: маленькая, в которой до войны братья Сергей с Анатолием жили. В комнате побольше — тоже две кровати: на одной спала Калерия, на другой мы с сестрой Клавой. Правда, Клава с мужем построили себе домик в поселке Архиповка, там и жили: Иван Абрамович — ее муж, Клава, а потом и дети-сыновья пошли. Сергей тоже женился и отошел от семьи, комнату братьев занял брат Азарий-Борис, в другой оставались мы с Калерией. Как-то будет теперь? Я в ту пору еще и не предполагала, чем же закончатся наши так хорошо сложившиеся отношения.

Однажды Витя сказал, что девчонок у них на сортировке теперь уже не осталось — разъехались после демобилизации кто куда. А нашего, говорит, брата, поднабралось много, и потому пока не будет распоряжения на их демобилизацию, часть будут работать, как работали, на сортировке, другая, по переменке или по желанию, — помогать населению на полевых работах: кто на лошадях, кто на уборке фруктов и ранних овощей.

Часть наших девчат, наших братиков-солдатиков, тоже начали демобилизовываться. Но пока, одним по уважительным причинам, другим по возможности, предоставлялись месячные отпуска, поскольку наша часть, как оказалось, должна была передислоцироваться во Львовскую и Тернопольскую области для продолжения работы в военной цензуре — продолжать разбирать мешки с письмами — завалы.

Как-то гуляли мы с Витей по вечернему очень красивому селу и, проходя мимо довольно большого и не глиняного, а деревянного дома с верандой, где жила моя землячка и доверительная подруга Полинущка, решили заглянуть к ней ненадолго. Они с Витей хорошо относились друг к другу. Полинка перед войной закончила полтора курса библиотечного техникума и вот готовилась помаленьку: что-то вспоминает, почитывает — чтоб, когда вернется домой, то смогла бы продолжить учебу и закончить техникум, получить специальность — тогда дадут направление и не надо будет рыскать по городу, читать объявления, кто куда требуется... Порассказывала, что и как там, в книжном царстве техникума, Мы попили чаю и собрались уходить, потому что поздно уже, а она сказала, что еще немножко себя помучает разными инструкциями и тоже баиньки.

Я отчего-то долго не могла уснуть и решила, что завтра же пошлю Вите приглашение на день рождения. Поднялась, отыскала заложенный в книгу красивый конверт, взяла хранимый давно и бережно трехцветный карандаш, нарисовала на конверте симпатичную виньеточку и в середине вывела крупными, но красивыми буквами: «Виктору Астафьеву». А внутри конверта лежал вдвое сложенный листок бумаги и в верхнем правом углу его было тоже нарисовано, не то птичка с цветочком в клюве, не то букетик. Я, собравшись с духом, начала со стихов:

Витя!

Каждая минута, каждое мгновенье,

Все, что есть и будет в жизни и судьбе,

Пламенного сердца каждое биенье —

Все это тебе!..

Витя, пожалуйста, приди ко мне на день рождения 22 августа 1945 года, к 7 часам вечера. Очень буду ждать.

Маша.

Аккуратно сложила, думаю, завтра, на свежую голову перечитаю и тогда передам.

Мешки с письмами привез не Витя, а другой солдатик. Я пошла, поздоровалась и попросила обязательно передать. Он

пообещал. А у меня начались сомнения: придет — не придет, примет приглашение или станет читать вслух в казарме, под общее улюлюканье... Но тут же: «Да ведь Витя же не такой! Он так не сможет!» К назначенному времени Витя не пришел. Я села с краю стола, ближе к дверям и выбегала на каждый стук, на каждый скрип калитки и в то же время — хозяйка все-таки — угощала гостей, слушала примитивные анекдоты, которые рассказывали «мои начальники», не ведая того, что сами же над собой и смеются... Вдруг слышу, кто-то браво, громко, отчаянно поет, подходя к нашему дому. Витя идет по грязному переулку, который и в жаркую, сухую-то погоду редко просыхал, — переулок узок, в тени плетней, кустов, деревьев и в нем, как в корыте, постоянно грязь. Поет Витя — это я поняла сразу, поет что-то озорное... а-а, Дуня шлепает по грязи... Точно! Витя. Только начальники-то связи сидят уж за столом, самогонку пьют, огурцами хрустят и всякую снедь уплетают.

Схватила я Витю за руку, поцеловала на ходу и повела за собой, представила: «Это мой друг, сибиряк. Прошу любить и жаловать!» Не все расслышали мои слова. Витя разглядел застолье, которое явно оказалось ему не по душе, особенно офицеры, зато девчата все приоделись в гражданское, прически изобразили, веселье поддерживают. Витя попытался раз-другой вступить в разговор, но в такой, с позволения сказать, разговор не сразу и вступишь: те говорили всяк для себя, не вслушиваясь в собеседника, и чем больше пили, тем глупее, хвастливее, и надо либо так же набраться, либо проявить снисхождение и не обращать внимания... У них же лица не овеяны интеллектом! Неужели не видно? Витя заерепенился, мол, зачем меня сюда зазвала?! Я таких в гробу видал! В белых тапочках!

— Ну, в белых тапочках они еще будут... Не надо об этом. Прошу тебя, потерпи маленько, они вот-вот скоро уйдут. Ах как жалко, что я ваших ребят, двух-трех, сюда не зазвала... просто не подумала и теперь очень сожалею, и очень тебя прошу не пугаться, и... я тебя люблю...

— Купить хочешь? Так я и поверил! — Витя проворно и демонстративно вышагнул из-за стола и прямым ходом на выход.

Я выскочила вслед за своим дорогим гостем, которого никак не осаврасишь, поймала за гимнастерку у калитки.

— Вернись! Пожалуйста! Прошу тебя!.. — одной рукой взяла своего дорогого гостя под ручку, другой поглаживаю по рукаву. — Если неприятно на них глядеть и слушать, посиди вот здесь за углом, на лавочке. Я и сама их не обожаю, но терплю... что же поделаешь-то?.. Ну, посиди маленько. Подожди! — я отчаянно как-то поцеловала его и наказала: — Жди. Я скоро. Я скоро приду, — и взглядом кивнула Маше Шардаковой на

дверь; когда она меня поняла и пошла из-за стола, я шепнула, мол, покури с Витей за компанию, он там, за углом хаты на скамейке. А я побыстрее их спроважу — пора и честь знать!

Когда начальство, дружно над чем-то смеясь, один по одному потянулось из накуренной хаты, выйдя за калитку. Ктиторов лихо запел свою коронную: «Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт, колоко-о-о-ольчик звонко...», подалеже за «звонко» последовали вовсе другие интонации и слова...

Федотовна поскорее закрыла дверцу ворот, даже веревочную петлю поверх столбика накинула, танцующей, пьяненькой походкой направилась к хате и вдруг крикнула:

— Мары-ысь! А где кварта з молоком?! Та щоб мени вмір-ти — я ж ее подоить забува, горилки богато, а молока нма! Шо ж робить?

— Давайте, я зараз! Я умею! — стеснительно предложила свои услуги Гутя Ожегова.

Пока Федотовна туда-сюда, пока еще чарку горилки со вкусом выпила, Гутя с ведром и с полотенцем ушла под навес. Она быстро управилась с делом, накинула на ведро с молоком рушничок, поставила в сенцы, маленько постояла с нами и, попрощавшись, пошла домой. За нею стали расходиться и остальные. Мы с Федотовной сложили всю посуду в деревянный ушат — завтра вымоем, и она отправилась спать, а я к ожидавшему меня Вите.

— Вот и я. Замерз? На душегрейку Федотовнину.

Сама я тоже была в светленьком колушке, накинута, как у гусара, форсисто, на одно плечо, чтоб спине и боку было тепло. Да так и обниматься удобнее, решила я легкомысленно, осмелев маленько от выпитой сливяной настойки.

Засиделись долго, прямо скажем, потом я с решительностью пошла проводить Витю до клуба, затем он меня провожал, мол, можно ведь еще погулять — не каждый день именины...

Мы гуляли по высвеченному звездами местечку, и тогда я высказала Вите свою мечту: сколько помню себя, с детства мечтаю побывать в Ленинграде. Объяснила, что Тошка Болотская теперь там живет, а после приезда домой будет не до того: ведь вернутся все-таки многие с войны, с работой будет трудно, жизнь ждет впереди — не сахар, как говорится, и, естественно, ни о каком Ленинграде и мечтать не придется. Сказала, что пока бесплатный билет — литерный, может, и съездить туда, в гости к Тошке Болотской, а как и что дальше будет — уж как будет, так и будет, но пока, говорю, вы будете работать — помогать населению, я съезжу.

Поговорили и разошлись, пока до завтра, до утра. Если он поедет работать с обеда. Мне, если откровенно, то очень даже нравилось, что он работает, разъезжает на коне, а после рабо-

ты, глядишь, то яблоки оставит на столе, то виноград, да какой! Крупный, красивый, спелый, сладкий!..

Через несколько дней мы компанией, кому надо было попасть на вокзал, к поездам: кому в Пермь, кому в Вышний Волочок, мне вот в Ленинград!.. Кто с чемоданчиком, кто с сумкой, кто с вещмешком. «Голосуем», останавливаем идущие в сторону Жмеринки машины, а они чаще все мимо, мимо...

Наконец остановилась проходившая порожняя машина, девчата начали грузиться: закидывать свои пожитки и карабкаться то на колеса, то на ступеньку кабины, чтоб перекинуть ногу в кузов, а дальше уж все легко... Вдруг смех девчоночий прервался и многие почти в голос, закричали: «Маша! Маша! Виктор идет!» А кто-то уж и выкрикивать начал, мол, с законным браком! Совет да любовь. Мы, мол, за вас рады... Постучали в кабину, чтоб шофер маленько подождал — дело важное должно решиться. А Витя уже подошел, какой-то необычный, неулыбчивый, отозвал меня в сторону, помялся, покатав носком сапога камешек и говорит:

— Ты знаешь, нас ведь демобилизуют... Я поехал утром на работу, и вдруг конь ногу подвернул, да сильно так, едва култыкает... Я его определил на место и к начальнику: что так-то и так-то. Он выслушал, маленько подумал и сказал, мол, ну и ладно. Коня вылечат. А вас не сегодня-завтра демобилизовать будут — и Указ, списки уже пришли. Так что радуйся, солдат — что ни случается, все к лучшему. Иди, отдыхай. Завтра с утра за документами... А я растерялся так, не сразу ведь и поверил. Потом спохватился, забеспокоился: «Уехала ведь! Точно уехала!.. Теперь — ни адреса, ничего, и где Болотская в Ленинграде живет — откуда мне знать? И как теперь быть?.. — Еще попинал камешек, чуть отвернувшись, как бы прищурился на солнце и сказал: — Мне теперь уж трудно представить жизнь без тебя!..

У девчонок ушки на макушке — все расслышали и все сами тут же и решили:

— Маша! Виктор! Счастливо вам! Молодцы! С законным браком!.. — И мой чемодан уж из кузова перекочевал обратно на землю, «прислонился» к телеграфному столбу.

И пошли мы, молодые, маленько растерянные, а в душе-то, не знаю, как у Вити, а у меня такое чувство волнительной радости все заполнило, что и поверить трудно, и передать невозможно!.. Машина с девчатами ушла — укатила в Жмеринку. Мы только перешли дорогу, чтоб к Федотовне, к моей хозяйке идти, оставить чемоданишко и начинать обдумывать — с чего все начинать? Витя-то завтра документы получит, а я? Недолго думая направилась к командиру нашей части. Витя остался ждать на улице, а я с ходу:

— Товарищ подполковник! Разрешите подать рапорт. Жених мой, из соседней части, с сортировочного пункта демобилизуется, мне тоже нужно... Без подписанного вами рапорта нас не распишут, не зарегистрируют наш законный брак и, значит, меня не демобилизуют.

— Ну, вы даете! То одно, то другое... Но, вообще-то, я очень за вас рад. Садитесь, товарищ старший сержант. Пишите рапорт.

А Вите командир части сказал, мол, сегодня-то ты в наряде отдежурь, а завтра все оформим...

И отправился мой Витя в ночное дежурство — в наряд. Я уговорила надеть чью-нибудь гимнастерку — только на дежурство, а я пуговицы начищу, подворотничок новый пришью...

Утром мы, как именинники, я во всяком случае, как именинница, только очень смущенная, направились в ЗАГС — за Прошлюбом — за Свидетельством о браке. ЗАГС располагался в центре села в двухэтажном деревянном доме: внизу в нем располагалась столовая, на втором этаже одну половину занимала контора, именуемая ЗАГСом, а во второй половине действовала — поколачивала, покуривала — сапожная мастерская. Наши как раз направились в столовую, заведев нас, окружили: «Вы это куда?» Я чувствую, как краснею, однако отвечаю, даже не отвечаю, а киваю на сапожную мастерскую, зачем — кто бы мне тогда объяснил! А Витя уверенно указал на контору ЗАГСа. Мы поднимаемся по скрипучей деревянной лестнице наверх, все наши — за нами как свидетели. Заведующая ЗАГСом взмолилась: пол проломите! Куда вас столько набралось?!

Нам довольно быстро выписали Прошлюб, мы расписались в журнале, затем нам поставили отметки или выписки о регистрации брака, закрепили печатью — Вите сделали запись в красноармейской книжке, мне — в личном удостоверении: «Вступила в законный брак с Астафьевым Виктором Петровичем 26 октября 1945 года». Перед тем как заполнить графу «Прозвище писля шлюбу» (фамилия после заключения брака), я чуть помедлила, переждала мгновенное напряжение-ожидание: что скажет Витя, отныне мой муж. И он сказал: «У нее своя фамилия есть!» И тогда я подтвердила: «Да, есть. Я — Корякина Мария Семеновна». Получили мы документы. Пока заведующая ЗАГСом сверяла правильность записи в журнале с записью в Прошлюбе, Витя мой вышел, мол, покурить невтерпех, я подождала, когда мне отдадут ту бумагу, вернее, бумажку в половину тетрадного листа величиной, так много значащую в будущей жизни людей, каждого нормального человека, свидетельствующую о том, что появилась новая молодая семья — и совет ей да любовь, чтоб и детей прибавилось и, вообще, жилось бы на земле веселее.

Насчет рождения детей и чтоб веселее жилось на земле я продолжу чуть позже. А пока... Положила я тот Прошлюб в свое удостоверение, Витя отбросил окурки, переглянулись и пошли к Федотовне, ненадолго завернули к казарме — Витя пригласил двух своих солдатиков, может, и не самых близких друзей, скорей всего — кто оказался, тех и позвал-пригласил, мол, надо это дело отметить! Вот она, Маша, теперь моя жена, законная, Прошлюб выдали — все честь по чести. Солдатики раздобыли бутылку самогона, Федотовна достала из закутка, из бочки несколько соленых огурцов, две чесноковины, с репу величиной, шмат сала, оглядела застолье весело, затем присела, и ей тоже налили в стопку.

Ребята нас поздравляли, говорили, что маленько завидуют, что вы теперь вместе, скоро домой... Нам пока ждать-пождать... Тут и Федотовна согласно звонким голосом подтвердила:

— И почекайте! И почекайте! Может, которые и на наших дивчинах оженятся...

Снова выпили. Бутылка опустела быстро. Ребята засобирались к себе, а мы с Витей еще посидели, погадали, что да как будет... Он ласковый, повеселевший сделался — может, от водки, может, от такого события, в жизни происшедшего, шутил, что вчера еще был холостой, не женатый, а нынче — вот!.. Муж! Молодца сковали золотым кольцом... — я с грустной улыбкой развела ладони, что пока не сковали, как уж потом будет? — дала понять. Витя обнял меня легонько рукой за плечи, накоротке притиснул к себе и тут же спохватился:

— Да ведь мне же в наряд! Во женитьба-то до чего доводит — и про свои военные обязанности забыл! — Поднялся, одернул гимнастерку и вышел из хаты. Но скоро вернулся. — Да это ведь вчера мне надо было в наряд-то! А теперь я — вольный казак! — хмыкнул: — Федот да не тот! И не казак я вольный, а муж законный!

Посидели маленько перед окнами и пошли прогуляться по селу. Прощально как бы. Завтра утром мы поедем в Винницу, в управление, где нас окончательно демобилизуют, выдадут литературные билеты до Москвы на поезд — дальше не положено, дальше на свои собственные, которые вам сейчас отсчитают. В столовой выдадут на неделю сухой паек — и скатертью дорога!..

В Виннице все оформили довольно быстро: Вите сразу выдали все, что полагается, со мной чего-то потянули маленько, майор, сидевший на подоконнике даже пошутил, мол, отпустить-то отпустим, только после праздников — приближались ноябрьские праздники — нарисуете стенгазету, плакаты «Добро пожаловать» над входом в клуб...

Я никак не отозвалась, майор тоже замолчал, а я пережидала, чтоб поскорее все оформили, а то... с первого дня заставляю

своего мужа то ждать, то еще маленько подождать... А он всегда был, пока дружили-гуляли, весел и ласков, а тут... Может, уже все напрасно? Может, подойти к нему, улыбнуться, пусть и через силу да и сказать: «Вот и все, дорогой мой солдат, милый и молодой муж, о каком я даже и не мечтала! Пошутили и хватит. Вроде у нас чего-то не так все идет... или у всех так бывает?»

Не сказала. В Станиславчик вернулись довольно быстро. Витя успел где-то черешни раздобыть, вроде даже вишни, а не черешни — осень же! Пока ехали в кузове попутной машины, он то и дело подсовывал мне свою полевую сумку, чтоб утощалась ягодами. Шофер остановил машину у того же столба, от которого отошла несколько дней назад машина в Жмеринку и увезла несколько наших девчат на станцию. Вышли. Постояли. Поразмышляли всяк про себя, всяк о своем. Витя спросил, все ли у меня собрано?

— Конечно! У меня и всего-то ничего: бельишко, вещички самые необходимые, документы и деньги — по карманам гимнастерки, шапку на голову, шинель на себя...

— Вот и хорошо! Тогда ты ступай с хозяйкой попрощайся, заberi свои пожитки и возвращайся сюда. Я тоже со своими попрощаюсь, может, кто и проводит? Сегодня бы и отчалили — чего нам зазря терять время золотое?..

Поезда проходящие останавливались редко, чаще только тормозили, а которые и останавливались, то двери вагонов не открывали, разве что высадить кого... Прибыл поезд, не помню откуда, но идущий до Киева. Витины друзья-товарищи смекалистыми оказались: один подтянулся на поручнях к туалетному окну, изловчился, пнул по стеклу, оно дзинькнуло, и тут солдатик протянул руку за чемоданом, чтоб побольше дыру в стекле сделать, ткнул его в туалете, затем меня подхватили, и он, Толя кажется, оказавшийся уже в туалете, подхватил меня, затем вещмешок, быстро открыл вагонную дверь — Витя прыгнул, парень махом, минуя вагонные ступеньки, оказался уже на платформе возле вагона. Они прокричали, мол, закройте, отсидитесь, а дальше утрясется, и устроитесь получше.

Когда поезд тронулся и рывками начал набирать скорость, я, протирая глаза, плохо различающие ребят из-за слез, махала им. Ребята долго бежали за поездом, махали руками, кричали что-то прощальное. Я привстала на цыпочки и ухватила за ручку, предназначенную для другой надобности. Витя от окна не отходил. Я не помнила ни о себе, ни о том, чтоб не порезаться об осколки стекла, затем подложила под мешок совок и веник, села в углу у двери, для Вити оставила свой чемодан, положив его на очко вместо крышки... Очко то почти проваливалось, до того было уже разрушено, того и гляди, вовсе провалится, и пиши пропадо,

но чемодан мой, хоть и невелик, но удержится над полом, не должен провалиться вослед за туалетным расхлябанным сиденьем.

Я иногда приподнималась, вставала на цыпочки и глядела, тоже прощально, на все мелькающее за окном, на беленькие хатки в редкой уже зелени палисадников; иные хаты были без крыш, без окон, их было жалко, как живых; редко где встречались местные жители, ни живности, ни гусяного, ни куриного пера — все какое-то мятое, обреченное, безжалостно покинутое... может до поры, до лучшего времени, может навсегда... Слезы начинали бежать уж ручейками по моему лицу, я отходила от проема окна, в которое из-за выбитого стекла порывисто, иногда с посвистом дул ветер. Я не унимала слез, пусть бегут — не жалко, боялась, что начну хлюпать носом... И чувства, смешанные, разные, без веселости и надежды, так распирали мое сердце, что и сердцу, и ребрам, и голове — всему уже делалось нестерпимо больно. И совсем уж не ко времени поплыли в памяти и перед глазами времена совсем еще недавние: часть вспоминалась, девчата, работа, которую часто делали на пределе усталости... Мостик через речку, на котором мы с Витей один раз долго стояли и он так славно, так душевно пел, разве что как когда-то пел мой брат Анатолий, но он пел под гитару, белозубо улыбаясь, чуть кокетничая. А Витя пел совсем по-другому, пел по-особенному! И когда начинал рассказывать, как здорово, многогласно и красиво поют в его родной деревне, мне верилось и не верилось: лучше петь уж вроде и невозможно... Тут же опять припомнился тот молоденький солдатик-«самострел». Он тоже пел, и пел совершенно по-другому, и я, пока буду жива, никогда не забуду ни его песни, ни его самого, ни того, как на него кричали и топали и все грозились отправить его в штрафную. Как и меня совсем не так давно... Опять подумалось о Станиславчике. Там я впервые и досыта наелась фруктов, которых даже во дворе у Федотовны было дополна, особенно слив, крупных, сизо-зеленых, сладких-пресладких, как мед! Как мы с Федотовной подпирали колымаги тяжелые от плодов ветви, чтоб не надломилась и в будущем были так же родливы... Не раз, но глубоко, про себя, буду думать о том, что, пожалуй, лучше бы остаться на житье здесь, в Станиславчике или где поблизости, где легче пережить голодное, холодное и многотрудное время... Но ведь дома родители, братья, сестры... ждут не дождутся, и как не разделить с ними ту великую и, часто будет казаться, уже вечную нужду, и всякие жизненные невзгоды. С трудом перебарывая себя, я всякий раз старалась уходить от этих тяжелых раздумий. Слава Богу, живые остались, молодые — все со временем устроится.

Пыталась представить, как-то устроилась жизнь у Тони Болотской? Она сообщила, что появился сынок — Коленка, что подробно напишет, когда узнает домашний адрес. Рая Буйнова,

надолго-ненадолго, связала свою судьбу с Мишей Пильманом или Шпильманом — смазливеньким еврейчиком (из дважды приезжавшего в Станиславчик какого-то ансамбля песни и танца) — он отбивал чечетку, пел сатирические куплеты; первый раз они быстро познакомились, подружились — и ансамбль уехал веселить военный люд в других частях; когда ансамбль тот приехал во второй раз, Рая незаметно, без лишних волнений и разговоров, быстро оформила перевод в другую часть и после сообщила в письме к Саше Бурдиной, что счастлива, что Миша пообещал до Берлина довести ее в объездах...

Поезд идет-катит, то дребезжит стеклами, скрипит деревянными стенками-заборками, стучит колесами. Я то тихо плачу, то уйду в воспоминания, которые и ко времени, и не ко времени, то мучительно думаю — стараюсь представить: как доедем? Что дома? Как будет чувствовать себя Витя?..

Поезд везет, постукивает колесами, особенно на стыках рельс. Я еще раз-другой приподнялась и, вытянув шею, понаблюдала, что за окном. А за окном вроде бы все еще война — выгоревшие строения и сады, опрокинутый, уже покрывшийся ржавчиной паровоз, разбитые дороги, разные останки от разбитой и брошенной техники — и такое чувство, будто война так и будет преследовать нас и никогда не отстанет.

На станциях, где наш паровоз останавливался или только приотормаживал — творилось невообразимое: крики, плач, мат, рев, затевались драки, разносились раздирающие крики о помощи, военные, при оружии которые, падали вверх, — утихомирить, остепенить, хоть какой-то навести порядок или в чем-то попытаться убедить обезумевших людей, в большинстве своем уцелевших, израненных победителей, возвращающихся по домам...

Названий станций я не слышала, не знала, да и зачем они мне, те станции, которые проезжали, лишь бы вез наш усталый, казалось, на пределе, паровоз.

На какой-то, видать, узловой станции паровоз должен был набрать воды и угля и тут уж началось такое столпотворение, что и представить трудно... Господи! Только бы не уронили паровоз наш, вагон наш... только бы не уронили...

Очнулась от раздумий, ужавшись в углу, когда кто-то или что-то рухнуло на унитаз, и чемоданчик мой легко слетел с него, ударив меня по коленкам. Витя мой, помогая, втаскивал в окно солдата с костылями: прежде закинул костыли, затем, напрягши силы, втащил раненого мужика. Тот плюхнулся через унитаз на мешок — удачно вышло. Повезло тебе, бедный солдатик, что так вышло, а ведь могло быть и хуже: унитаз вдребезги, твои ребра, голова или остатная нога тоже пострадали бы... Живой, и слава Богу! Хватит с тебя и того, что ноги лишился.

А Витя, уж не знаю, каким сверхусилием втаскивал в тесный туалет, в выбитое окно еще и женщину, оказавшуюся женой раненого солдата, — может, специально в госпиталь за ним ездила?... В туалете — не повернуться, не шевельнуться, ведь площадь-то метр квадратный! А нас уж четверо да пожитки... Да хорошо, что Витя мой взял и помог людям, втащил их в это крохотное, карболкой пропахшее — аж глаза слезились — заведение.

Представление о времени утратилось, казалось, однако, что мы едем уже двое суток, может и больше. Мы не без труда выбрались из туалета, хотя тут нам помогли сами пассажиры, потому что наведаться в это заведение не терпелось многим и потому, толкаясь, переругиваясь беззлобно, люди расступались, как могли, и мы, как могли, пробирались по вагону, медленно, но упорно, иногда мои ноги даже и пола не касались, однако движение не приостанавливалось...

Наконец мне удалось примоститься с краешку на нижней полке, на которой и так как сельдей в бочке, одной половинкой зада я присела, не упускала момента, когда вагон подбрасывало, качало ли сильно — и получалась само собой как бы «утруска», и я через недолгое время, потеснив соседок, уселась уже нормально и какое-то время еще и не верила в такое счастье. Потом заметила, как муж мой, мучительно морщась, переставлял или вытаскивал из табора вещей ломанную в детстве ногу и втискивал на ее место другую, здоровую, хотя и ей, бедной, усталой, измученной ноге, тоже хотелось отдыха... Мне удалось, не скоро правда, но поменяться с ним местами, он сел, а я даже смотреть не решалась, как он приходит в себя, ждет, когда отойдет остамелая, больная нога...

В Киев поезд наш пришел поздней ночью, а может, уж и наутре. Народу вокруг полууцелевшего вокзала так много, будто со всей страны, со всех фронтов и сторон именно в это время сюда вот взяли и пришли, приехали, прикатили. У ларьков выдавали сухой паек, хлеб и еще не то селедку, не то конину. Витя оглядел толпу-очередь, подумал и невесело сказал, мол, суток трое — не меньше — понадобится выстоять... И в туалет не сходили ночью, пролопушили — туда тоже очередь без конца и края...

В Киеве мы вынужденно пробыли-промаялись больше суток, наверное двое. За это время нам удалось немного: немного побыть в помещении вокзала — в нем было все-таки теплее, мы изрядно продрогли. Затем Витя торопливо, даже вроде сердито прогнал меня в туалет. Попасть туда по-доброму было невозможно, народу все прибывало и прибывало, да в основном все мужики. Они, недолго думая, начали пользоваться и женским туалетом, и дело это затянулось, пока одна военная женщина, как рассказал мне муж, так возмущилась, что дала оче-

редь по женскому туалету — и сыпануло оттуда мужичье, кто как, кто в чем, чаще — штаны в береме. В это время и мне удалось туда проскочить и освободиться — такое чувство после было, будто ношу тяжелую свалила с себя, полегчало сразу не знаю на сколько, а то уж и небо с овчинку казаться стало.

Витя то и дело выходил из вокзала, возвращался безутешный, озабоченный, сердитый. Однажды же пришел, подсел ко мне и тихо сообщил, что договорился тут с мужиками-железнодорожниками — пообещали взять до Дарницы, к сожалению только на тендере, на угле значит... Здесь же мы подохнуть можем, но выбраться нет, а там... ну, опять как-нибудь.

Я не решалась заранее радоваться да и поверить, что хоть что-то удастся и мы помаленьку все-таки станем двигаться к Москве... Посмотрела на него уж и не знаю с какой благодарностью и удивлением: до чего же он сообразительный! И тут не растерялся. А то, что сумел договориться с мужиками-железнодорожниками, меня даже радостно как-то внутри согрело: значит, и с папой, тоже всю жизнь работающим составителем поездов, они легче сойдутся и породнятся.

Забрались мы в тендер, расположились на угле — я наподобие норки себе что-то изобразила, чтоб никто не увидел. «Железнодорожники, — сказал Витя, — строго насчет этого предупредили». Сам Витя тоже как-то прикорнул и вроде замер.

Поезд тронулся... Всюду сразу что-то залязгало, загрохотало, угольная пыль, сажа завихрились... Не заметили, как оказались в Дарнице. Слезли с тамбура, поглядели друг на дружку и только что не упали — какие мы красавцы черномазые сделали за эту короткую дорогу!.. Направились к водокачке, как когда-то в польском городишке — к озеру... Слава Богу, тут ни черепов, ни костей, вода чистая, холодная. Умылись, пообчистились, привели себя в порядок. И снова нам предстояло решать задачу со многими неизвестными: как действовать дальше? Витя мой снова то уходил, то возвращался, то добрый, то злой, через силу уставший, измотавшийся.

Он даже, как оказалось, уж и отношения выяснять с кем-то связывался, и матерился, и доказывал... А кому что докажешь? Однако офицер-патрульный, контуженный, который подходил к нам документы проверять, когда мы коротали время на старой лавке под каким-то широко растущим деревом, покачивая головой, ничего не пообещав, вдруг в темную уж пору послал за нами молоденького рядового с приказанием явиться к нему. Может, не совсем точно запомнила, как все было, но в ночное время тихо, затаив дыхание, мы залезли в полупустой вагон прикрытия — это между паровозом и пассажирским составом — на случай, если поезд резко затормозит, то вагон при-

крытия может и раздавить, зато едущие в вагонах первого класса важные люди могут даже и не понять, что произошло.

Витя мне тихонько, почти шепотом, рассказал, что все это значит, но если повезет, то мы таким образом доберемся до Москвы... Я плохо во все вникала, я хотела одного: поскорее бы, пусть хоть как, хоть на чем добраться до Москвы, побывать у тети Таси — и прямым ходом домой.

Не сразу, не скоро устоялось относительное спокойствие в вагоне: кто-то чего-то у кого-то требовал; пожилой мужчина прямо и резко отшивал молодых патрулей, которые вели себя, увы, без намека на вежливость или снисходительность к пострадавшим, усталым, израненным победителям... Патрульные отряды являлись не раз и не два — требовали, чтоб освободили вагон, что не положено, что опасно, угрожали, что стрелять будут... Затем патрули-молодцы закрыли наш вагон на тяжелую задвижку и с хохотом пошли, мол, попляшут, узнают, еще в ногах валяться, умолять станут, чтоб открыли дверь.

Наконец вроде все успокоились, все утихло и тут мой молодой муж вознамерился со мной поиграть... Сначала я старалась не только не отвечать на его ласки, но и как бы не реагировала вовсе, вроде как дремала. Муж не унимался. Я подумала-подумала и взяла его руку, приложила к своему разгоряченному лбу. Он отдернул руку, забеспокоился: «Простыла?» — спрашивает. Я отрицательно качаю головой. «Заболела?» — «Да нет же», — и тут не выдержала, призналась, что я же в вагоне одна женщина, а мне время от времени тоже надо бы в туалет... Я уж и не пью совсем, и почти не ем, но я больше не могу терпеть.

Я не успела договорить, объяснить, так сказать, как Витя мой снова с вопросом: «Почему об этом не сказала?» Говорю, что боялась отстать от поезда и еще боялась автоматчиков...

— Да ведь я же железнодорожник! — почти со стоном заговорил Витя. — Я же правила движения знаю. Когда горит красный... Может, я тебя загорожу шинелью, и ты в притворе дверей пристроишься?..

— Нет, не беспокойся, я еще потерплю. Ты только пока ко мне не прикасайся, пожалуйста, и не обижайся, не сердись на меня.

Витя укутал меня чем мог, утешил как мог и устроился у приоткрытой двери, на сквозняке, чтоб не заснуть, чтоб станцию не прозевать. За вагоном разговор слышался. Витя мой к двери с просьбой, чтоб отперли вагон, что говнюки-патрулики от нечего делать развлекаются... И что-то еще говорил тому смазчику или осмотрщику вагонов. Тот каким-то своим инструментом стронул тяжелую задвижку с места и откатил до отката. И тут подхватил меня молодой и такой смекалистый мой муж, ссадил на землю и велел бегом бежать — показал куда —

паровоз еще только отцепляют на заправку, а без паровоза мы же никуда...

— Беги, не беспокойся! Я тут ждать буду.

Потом рассказывал как раскинув руки, говорил хлынувшим из вагона, натерпевшимся мужикам, чтоб шли в ту сторону, что сюда нельзя! И мужики, говорит, не разбирались, в чем дело, не теряли времени и, на ходу изготавливаясь, впробеги, на полусогнутых, как говорится, двинули куда подальше...

Когда все обошлось, когда сделалось легче и даже веселее, я вспомнила и рассказала мужу, как мы вот так же ехали на Украинский фронт. Поезд то идет, то стоит, то опять пойдет... Пытались некоторые принаравливаясь в дверь, да не дело это. Зато когда показалась вдали станционная будка, а может, автоблокировка — провода, натянутые над землей на высоте полуметра, может и того меньше, — одна из наших девочек рванула впереди всех и, не разглядев ту автоблокировку, запнулась за нее и метра три, если не больше, прокатилась по инерции вперед и не сразу поднялась. А когда поднялась — ох, Господи! — рот рукой зажат и сквозь пальцы кровь сочится: Гутя сломала зубы, а другой рукою собрала в горсти перед платья, пыталась скрыть мокрое пятно...

В Москву мы приехали, помнится, к вечеру и сразу же направились в метро. Я с легоньким вещмешком Витиным, а Витя с моим чемоданом, который и чемоданом-то назвать едва ли можно. Спустились к поездам, заведя в темном далеком тоннеле фары электропоезда, выбрали место, где поменьше народу, остановились, ждем. Я вроде рассказывала Вите, что любимая моя тетушка Тася живет на квартире в Загорске, на Запрудной или на Надпрудной улице, перед домом в палисаднике рябины и черемухи... И еще я была совершенно уверена, что мой Витя, такой удалой и смысленный, значит и расторопный — электропоезд стоит одну-две минуты, и люди спешат: одни, чтоб выйти из вагона, другие, чтоб успеть войти... Юркнула я в вагон быстро — мне это удалась, думала, и Витя за мной. Остановилась у окна, оглядываю пассажиров в вагоне — Вити моего нет! Не успел! Остался — глянула в окно: стоит мой милый боевой солдатик, мой родной муж по ту сторону вагона, на перроне. Я покричала, но чувствую, бесполезно, тогда пальцем на стекле вывела слово «Ленин» — Библиотека Ленина где же я написать успею, а Ленин — написала. Стою, не отходя от входа-выхода, чувствую, как сердце во мне плачет, не глаза, а именно сердце — переживает случившееся... Вышла я на остановке «Библиотека Ленина» и все пыталась встать на видное место, чтоб он сразу меня увидел!.. Только выберу место побезлюдней, как тут же, откуда ни возьмись, появятся и начнут толпиться люди, и меня опять не видать... Я только что на скамейку

не залезла — не решалась — оштрафуют. Верчу головой, всматриваюсь в публику: а вдруг! Но как заслышу шум приближающегося электропоезда — вся внимание! Все двери и входы-выходы, конечно, взглядом не охватишь — это я понимала, однако,ждавшись, когда выйдут пассажиры из ближних, из средних вагонов, снова отходила на видное место. Один или два поезда даже пропустила — от горького расстройства. И плакать боюсь — из-за слез не разгляжу, не увижу его в толпе. А как представляю, что теперь обо мне Витя мой думает, а представляю, думает Бог знает что: и клянет-проклинает, и меня, свою жену непутную, и тетю Тасю за компанию, хотя тетя Тася тут совсем ни при чем... Видать, кончилось мое счастье, так еще и не начавшись. Ладно, хоть до-мой ничего не сообщила, что замуж вышла. Ох, как же нам найтись-то?! Господи, где же он теперь есть-то? Может, тоже переживает, а может, подумает, погорюет маленько да подастся из метро и направится куда глаза глядят, решив, что утро вечера мудренее. От этих мыслей у меня не только все внутри похолодело, даже ноги коченеть начали, хотя и тепло в метро, уютно в холодную пору, а летом, в жару — тут всегда прохладно и, главное, всегда чисто... Ох и дура! Нашла о чем думать: прохладно, чисто. А Вити все нет и нет. Конечно, ждать да догонять — нет хуже занятия, но смотря чего и кого ждать. Было бы кого, как вот теперь Витю. Да я готова до утра его здесь ждать, только на ночь метро закрывается, всех просят освободить залы и вагоны метро.

Снова прошел поезд, Витя и с этим поездом не приехал. Ладно. Буду ждать, опять встану на видное место.

— Да вот же ты где! Батюшки мои! Я жду, жду.

Разговор мой о том, как я ждала, Витя тут же прервал, да таким манером, такими словами. Я даже и не знала, что такие матюки бывают! Папа мой никогда не матерился, и вообще, при нас, ребятах, никто никогда матерно не выражался. И тут же виновато-радостная мысль: «Да ругайся ты, ругайся, как хочешь! Сколько хочешь! Главное — нашлись же, снова вместе. А ты ругайся, матерись, если легче тебе от этого, а я потихоньку, постепенно, постараюсь и к ним, к этим выражениям, привыкнуть...»

И потом, когда шли к электричке, уже последней, идущей до Загорска, Витя все мне высказывал, высказывал, прямо как в современном мультике о «Красной шапочке», которая поет: «Я пойду в Париж, чтобы высказать все, что на сердце у меня...» Красная шапочка — в Париж, чтоб высказать, а Витя мой — по дороге в электричку, чтоб поехать со мной в Загорск, тоже чтобы высказать! Когда вышли на конечной остановке из электрички и направились по плохому, почти совсем не освещенному городу Загорску к тете Тасе, я сначала шагала бодро, с уверенностью, но по мере приближения к пруду вдруг засомнева-

лась — где же живет моя тетя Тася? Встану на мосту лицом к тому берегу пруда, припомнится, будто дом-то ее совсем и близко от моста, а оглянусь — покажется, будто она живет совсем не на том берегу, а на этом... Все от волнения, от переживаний всю память отшибло. Но непременно надо вспомнить, непременно, как же иначе-то? То в метро приключение — не приключение, а горе-то вот теперь здесь. Стояли мы стояли, глядя на пруд, в один конец направимся — вроде не туда, вернемся.

— Витя, я не знаю, где живет моя тетя Тася! Я у нее была только один раз, еще до войны, и адреса не знаю, не запомнила, вылетело из головы от переживаний. Знаю, что перед домом палисад, а в палисаднике рябина и черемуха растут...

— Значит, не знаешь?!

— Не помню.

Тут уж Витя начал проклинать себя, мол, куда и глядел, где и выискивал такую золотую?! Дуру полоумную! Вон в Станиславчике сколько этого добра было — глаза разбегаются! Любую выбирай! И на что позарился?! Дурак! Идиот! Охломон! Возьму и пришибу! Тогда я второй раз услышала от него, как он может материть, материться, а тогда, когда портянкой хотел стереть краску с моих щек — разве это матюки были?! То были комплименты, если разобраться как следует: разглядел и, видать, хотел, чтобы я выглядела получше. Я ни оправдываться не могла — да и в чем оправдываться-то? Сама виновата! И плакать не могла — это я за собой давно знаю: когда мне вовсе плохо, тогда я и плакать даже не могу. Витя мой еще поматерился, походил туда-сюда и вдруг остановился против одного дома, схожего с другими, соседскими, а вот выбрал этот, зажигалкой посветил, подумал и, как знающий себе цену, не без презрения, велел, показывая на дверь, чтоб звонила или стучала.

— Да как же я могу беспокоить людей, скорей всего чужих, незнакомых, в такой поздний час?!

Я даже голову утянула в плечи, так он на меня сверкнул единственным глазом. Однако пошарила по воротам, потрогала щеколду, встав на цыпочки, в палисадник заглянула, поглядела на закрытые ставнями окна, а постучать не решалась и, вообще, будто вся как льдом покрылась...

Снова полетели матюки — я и их смиренно выслушивала, но когда мой муж, много чего обидного наговорив, снял пилотку и постучал по своей голове, дав понять, что она не только для пилотки, что в ней кое-что имеется, не то, что у некоторых. Я тогда отчего-то, именно в тот миг, вдруг поверила, признала — это тети Любин дом! И сначала робко, затем настойчивей стала стучать. В кухонном окне вспыхнул огонь, осветив растительность под окном, затем не сразу, помедлив, приоткрылась

дверь, и сонным уже голосом хозяйка спросила, кого носит в такую ночную пору? Может, добрый человек, а может...

И тут я закричала с радостью, благодарностью и вроде отчаянием — вдруг не отпрут дверь, что тогда?

— Тетя Люба! Тетя Люба! Это я Миля! С фронта я еду...

Тетя Люба! Узнав в тихой ночи громкий мой голос, тетя Люба отворила дверь, взглядела в меня пристально:

— И правда, что Миля! Милечка!

Тетя Люба, крупная, породистая женщина, когда-то в молодости была пригожа лицом и статью, да она и сейчас еще видная, скорей сказать представительная, — обнимала меня крепко и нежно, как родную, и я уж задыхалась в объятиях ее пышного тела... Мы, еще не отойдя от двери, и поплакали уж, и поцеловались, и она вдруг неожиданно спросила, указав на Витю: «А это кто?»

— А это муж мой, Витя! Очень хороший человек, не глядите, что молодой, зато смелый, отважный... и я его очень люблю и буду любить всегда.

— А-а, муж. И имя хорошее. — О чем-то подумала маленько и пригласила нас в дом.

Пока шли от калитки к крыльцу, тетя Люба тихо предупредила, только, мол, потихоньку, осторожненько. Вася с войны вернулся да таким барином сделался — не знаешь, как и подступиться иной раз. «Потом все расскажу. А тети Таси твоей, Милечка, дома нету», — жалостливо шмыгнув носом, сообщила тетя Люба.

— А что, в поездке?

— Если бы в поездке! В больнице она, твоя тетушка, дура набитая... ногу поломала. Давно уже лежит. А я тут кручусь-верчусь.

Попечалилась я, очень жалея тетю Тасю.

— А мой-то, — кивнула тетя Люба на закрытые двери в горницу, или свою спальню. — Кто воевал, а он в плену беду нашу русскую переждал — вернулся чисто барин! Да барин и есть... Умывайтесь да и спать устраивайтесь — располагайтесь в ее комнате. Есть-то, наверное, не станете? Да и какая еда ночью да после такой дороги. Да простыни-то снимите, с дороги ведь. В бане помоешься, тогда и тряпицу вот возьмете. Кабы она, голубушка моя, знала, кто у нас объявился! На костылях бы добралась. Да ведь только дуракам закон не писан! Дура была, дурой и осталась. От работы, как говорится, кони дохнут, а она... думаешь, Милечка ты моя дорогая, в больнице-то лежит — лечится да отдыхает? Как бы не так!

Витя мой едва держался от усталости да переживаний, я кивнула, чтоб незаметно удалился в тети Тасину боковушку да и укладывался спать. Спустия немного заглянула: лег ли муж мой, которому я за это время столько огорчений добавила, хло-

пот да забот, легонько поцеловала его, уже задремывающего, и вернулась к тете Любе. И мы еще не скоро с нею разошлись по своим местам, она то про барина своего Васю, то про тетушку мою, все слово за слово.

Ранним утром я поднялась. Нагрела воды — бани у тети Любы не было, выстирала гимнастерку и брюки Витины, приспособила сушить к печке, чтоб быстрее высохли. Портянки не очень отстирались, и я их повесила за печку — с виду подальше, затем вымыла голову. Витя проснулся поздно, и я к этому времени уж выгладила ему обмундирование, подворотничок подшила, пуговки о суконную шинель почистила, сапоги тоже собралась было почистить, но чем? Обтерла тряпочкой его сапоги и только принялась за свои, тетя Люба увидела меня за этим занятием и тут же принесла большую жестяную банку с гуталином. И скоро у порога стояли отблескивающие, прямо как новенькие, две пары сапог, большие и маленькие!

— Доброе утро, — с улыбкой сказал нам Витя.

— Какое тебе, голубок, утро? День уж давно. Ну, Милечка, и оторвала ты себе муженька! Спать горазд!

— Не только спать, тетя Люба, он горазд, он и смекалист, и надежный, и много знающий-понимающий. И это еще не все!

И когда я начала рассказывать, как он, никогда не бывавший в городе, отыскал нюхом, как разведчик, ее дом, Витя уже стриганул из избы — справлять нужду. Затем я показала, где ему умыться и, если хочет, то и голову можно вымыть, и ноги — воды нагрето много... Когда Витя обмундировался во все чистое, свежее, сам отоспавшийся, глаз ясный, ласковый, выждала момент, когда мы остались одни.

— Милый ты мой солдатик! Добрый молодец! Наверно, даже самый лучший! — смутилась маленько, но быстро справилась с собой и уже вполне серьезно добавила: — Витя! Никогда не унижай себя, ни перед кем, ни в чем! Ты красивей, смелей и порядочней всех! Так и знай!

Обедали мы с тетей Любой и мужем ее — барином, это она точно определила. Сервировка стола — для него — была соблюдена лучшим образом, и его это ничуть не стесняло в присутствии нас, даже, наверное, наоборот. А в тете Любе наблюдалась какая-то рабская услужливость, что ли. Это меня поразило очень: тетя Люба! Такая видная, все умеющая, такая практичная и неустанная — и вот. Ну это, как теперь говорят, их проблемы. Не желала, не хотела, боялась я только единственного, чтоб Витя мой, привычный всегда, всем говорить правду, часто резкую, грубую, не в бровь, а в глаз... Теперь же был не тот случай — надо бы сдержаться, на эти два дня — и только. Но я не настолько хорошо и тонко знала своего Витю, больше любила, и потому не решалась сказать

ему об этом прямо, а так хотелось только и сказать-то: «Витенька, сдержись. Завтра мы уедем к тете Тасе, послезавтра — домой, и без радости была любовь, разлука будет, как говорится, без печали. Другое дело — тетя Тася. Я так ее люблю и так мне ее жалко, и не знаю, чего бы сделала, только бы она поскорее выздоровела... Я очень хочу, чтоб ты с нею познакомился как можно скорее. Тетя Тася — замечательная и самая любимая тетушка! Ты только не петушись. Ты лучше меня матерй сколько хочешь! Вон какой ты на это дело мастер! Потерпи до завтра. Завтра поедем к тете Тасе, навестим ее, поговорим, послушаем, ты поближе поознакомишься. Потом я за билетами поеду — у меня же литерные талоны! Мы с тобой дальше поедем в купе, может даже только вдвоем. Мы же с тобой так вдвоем-то еще и не были... А барин этот и мне противен, но что тут поделаешь? Кому как...» И вдруг Витя резко, почти зло напомнил мне, что я не была на Днепровском плацдарме, что я... Конечно, ни на каком плацдарме я не была и вообще войну видела издалека. Хотя... Да, Витя, а ты не знаешь, что тетя Тася уговорила свою хозяйку — тетю Любу, чтобы та привезла ей в больницу ее швейную машинку!

— А это еще зачем? — сильно удивился тогда мой Витя.

— Завтра узнаешь! — улыбнулась я и, бегом поцеловав его, шепнула, что я сейчас пойду, разденусь и ты через минуту-две приходи...

Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба, присела на край постели, опять стала жаловаться на своего барина. Я от этих жалоб тети Любы чувствовала себя как-то неловко: тетя Люба, статная, видная, даже властная, во всяком случае сильная, умеющая за себя постоять, женщина — и вдруг оказалась рабыней своего вассала!.. А может, ей просто хотелось выговориться, освободить душу и сердце да жить дальше — не каждому ведь обо всем и расскажешь, а тут мы свидетелись-расстались, ей полегчало, нам, наверное, тоже...

Мы наведались к тете Тасе в больницу, а потом быстро уехали из Москвы. Я плохо помню: вместе с Витей или одна наведалась ненадолго в Загорск, к тете Любе, — за подарками, какие нам определила тетя Тася, как бы на бедность нашу, на начало нашего семейного обустройства. Тетя Люба ворчала, я молчала, ожидая того, чего велено нам отдать тетей Тасей. Все взяла, аккуратно завернула, поцеловала подушку на заправленной постели, поблагодарила хозяев за приют и ласку, пожелала доброго здоровья и пошла со двора. Тетя Люба, шаркая надернутыми на ноги галошами, дошла со мной до калитки, многократно расцеловала, заливаясь слезами, и с сожалением, как мне показалось, отпустила меня из своих объятий, чего-то еще громко сказала вослед и крепко заперла за мною дверь.

Мы ехали в купейном вагоне до Перми — так было указано в билете, а из областного центра идут электрички и попутные поезда. Нам и тут долго ждать не пришлось. Объявили, что прибывает поезд или отправляется уже — Пермь-Соликамск, я заспешила, Витя за мной, втиснулся в тамбур, а там постепенно и в вагон.

Поезд плавно отошел от Пермского вокзала, быстро начал набирать разгон, и мне не выразить те свои чувства в то время, но их, чувств, было много, разных, волнительно-тревожных, радостных, что скоро буду дома! Но и у Вити все выражено на лице — что у него на уме. А тут еще и похолодало ощутимо — и не до разговоров, и не до шуток. Электровоз везет, мы покачиваемся, помалкиваем. Я уже несколько раз предлагала Вите свою шапку — у меня же еще и берет есть, но он не взял, отмахнулся. Ну, не взял и не взял. Я уж как-то не очень и верила, что мы скоро, часа через полтора явимся с ним вместе к нам домой, думаю, решит в последний момент, а может, уж и решил, что передумал здесь оставаться, в Сибирь поедет. Я уж и к этому вроде была готова, хотя умом понимала: ну и что? Ну, передумает, поплачу, погорюю и забыть уж никогда не смогу, но не сопьюсь, не истаскаюсь... Ладно хоть домой не сообщила, что замуж вышла, — все же произошло быстро, почти в два дня. Но в своем письме к Калерии писала, что вот сдружилась с очень хорошим парнем, бывшим детдомовцем, начитанным, надежным, веселым. Но и словом не обмолвилась, что собираемся пожениться; да у нас и разговора-то прежде об этом не было, просто нам с ним очень хорошо и интересно. Ответ написала не сестра, а ее муж Петр, письмо нравоучительное и в таком тоне, что если мы поженимся, то им с Калерией нас и кормить и поить придется, коль он раненый да детдомовец...

Приехали в Чусовой, вышли на перрон, затем на привокзальную площадь. На табличке же было написано и указано стрелкой: «Выход в город». Вот мы и вышли. Витя огляделся: по одну сторону вокзала-станции — гора, на склоне которой дома то табунками, то поодиночке, по другую сторону станции — сплошь железнодорожные пути: станция-то узловая, а за путями — река, но ее почти не видно. Увидел в низеньком, приосевшем привокзальном скверике на невысоком постаменте тоже как бы приосевшую, литую фигурку Ленина со снежным комом вместо шапки на голове и с вытянутой в сторону перрона рукой. Витя какое-то краткое время поводил головой, поприглядывался к фигурке вождя и громко, с веселостью воскликнул: «Здорово, товарищ Ленин! — единственная знакомая мне личность в этом городишке».

И мы направились по дороге в сторону дома. Погода помягчала, снежок пошел, и, когда дошли до здания милиции (или про-

куратуры?), где было яркое освещение, мы поставили свои небогатые пожитки к телеграфному столбу и маленько покидались снегом — поиграли в снежки. Я и это поняла: Витя мой замедляет и замедляет ход, чем ближе к дому — тем заметней. Пришли к дому, вошли под навес крыльца, присели на лавку. Посидели. Я хотела уж стучать в дверь, но Витя остановил, мол, посидим еще маленько. Еще посидели. И тут я неожиданно, но с надеждой вспомнила, куда клали ключ от двери, прошлась пальцами за верхним наличником двери от угла до угла и в конце наткнулась на гвоздь, вбитый сбоку, а на гвозде том... вот он, ключик, не золотой, конечно, поржавевший уж немного, но тот самый! Я мгновение подумала и отдала тот ключ Вите, чтоб открывал, чтоб... Витя так и сяк вертел-повертывал тот ключ в замочной скважине, пробитой в жестяной пластинке — видать, сама замочная дырка как бы «размахрилась» по краям, просторней сделалась и ключ не сразу попадал в нужное отверстие. За дверью, в сенках, слышались осторожные шаги, приблизились и отступили. Витя махнул недостаточно рукой и сунул ключ заветный мне в руку. Я тоже со старанием принялась орудовать вроде с детства знакомым ключом, но безуспешно. Дверь из избы снова отворилась, и слышался такой родной и до боли уж мне знакомый голос — голос папы.

— Кто стучается? Ково надо?..

— Папа! Да это же я, Мария! Мы с Витей с войны приехали, вот, домой!..

— Марeya?! Дак што же ты отпереть-то дверь не можешь, че ли? Ты... вы вертите теперь не к Куркову, а к Комелину! В ихну сторону, к Комелиным. Осенью варнаки какие-то испортили замок. Пришлось исправлять да наоборот вот и вставили.

Когда я ключ повернула в сторону соседей Комелиных — дверь с легким скрипом открылась. И стоит перед нами папа, в нижнем белье, в телогрейке, накинутой наспех на плечи, в шапке, у которой одно ухо висит, а другое вверх задралось, маячит тесемкой...

— Мати, Вася! Ребятишки! Марeya ведь приехала! Слава Богу, жива-здорова. И Витя вот с нею, тоже солдат. Не знаю, наш — не наш? Да если и гостимо, так места всем хватит. Давайте, проходите. В избе тепло. Раздевайтесь давайте. А ты-то че же? — оглянулся он и увидел Витю, так и стоявшего у порога. — Повесь шинель на гвоздь — их тут много понабито заместо вешалки — и проходи. Марeya, покажи Вите, где у нас рукомойник... Тася! Сколь звать тебя надо? Самовар разжигай, ребята-то с дороги, холодные, голодные, шевелись давай!..

Мама — я не заметила, когда и как она оказалась на лавке у стола — охала, ахала, радовалась и плакала, и все колотила себя по коленям, порастирает и снова колотить принимается...

— Миля, подойди ко мне, видишь, ноги мои опять за свое, опять они ходить отказываются: то жилы сведет, то приступит не могу. Ну да ничего, днем расхожусь — не первый раз. Только сегодня-то уж и вовсе ни к чему... такая радость, а они вот... Подойди, посиди маленько. Вите полотенце-то, Тася, подай, и мыло — на припечке, а может, на умывальнике сверху... Господи! Вот радость какую Бог послал! Миля, а Витя-то как? Наш или куда дальше ему ехать?

— Наш, наш, мама! Витя — мой муж! Мы расписались перед самым отъездом. Не он бы, так мне еще долго, наверно, пришлось бы мотаться туда-сюда. Хороший он парень. Очень. Вырос в Сибири, в детдоме, а потом на войну. Столько раз ранен... Мама, папа, вы уж жалейте его почаще, чем нас, родных. Витя! Полотенце-то нашел — нет? Там, на гвоздике должно быть.

В этот момент вышел из-за занавески, как бы из-за печи, Витя, тщательно протиравший лицо и руки, посторонился от шипящего поблизости самовара под трубой. Смущается — почувствовала я, подошла, взяла у него из рук полотенце, улыбнулась ободряюще и легонько направила к маме:

— Витенька! Это моя мама, Пелагия Андреевна, тети Тасина сестра. Она у нас еще ничего, всю домашнюю работу делает и вообще... только беды одна за другой точат и точат ее сердце.

— Посиди маленько со мной, Витя, понимаю, как вы устали с Милей — дорога дальняя, нелегкая, да не из гостей, с войны. — Когда Витя опустился на лавку рядом с мамой, она погладила его по рукаву, до головы дотронулась, улыбнулась. — Ничего. Теперь дома. В тесноте, да не в обиде. Со временем чего-нибудь придумаем, разместимся, всем места хватит. Отец, — обратилась она к папе, — сейчас-то еще рано, а днем надо предупредить Шепуревых — пусть временно пожить пустят, пока найдут что подходящее. Они освободят избушку, побелите, приберете... Мария все это умеет делать, справится, а теперь, когда вас двое, так и вовсе дело быстрее сделаете — и переберетесь... Тася, — нашла она взглядом мою младшую сестренку, — самовар-то к вечеру вскипит или пораньше? — И та присела на кукорки да так принялась дуть в решетку-поддувало — самовар моментально забулькал! — Ну вот, теперь дело за небольшим — на стол соберите. Вася, полезай в подпол, там, в самом углу, за корчагой с глиной бутылка должна быть с наливкой! Ох-хо-хо. Какая уж там наливка? Малина второй год бродит, сахару в нее малехонько тогда еще сыпанула. Ну да уж чем богаты. Отец! В чулане на верхней полке в ларе маленько хлебушка должно быть...

Мама руководила и все растирала и растирала ноги. Иван Абрамович спустился по скрипучей деревянной лестнице сверху — через холодную дверь ходил проверить в целости ли мясо.

Подав Вите руку, назвался — познакомились. И стал со смущением рассказывать, как нас за воров принял, думал, говорит, что подперли нас с улицы и орудуют в дровянике, где ободраный теленок, вчера заколотый, подвешен к стропиле. Ну, говорит, думаю, теперь все. Теперь нам из нужды так уж и не выбраться — не достроить дом... Рассчитывали, что на вырученные за продажу мяса деньги подкупим пиломатериал, стекла да толи на крышу, пусть хоть временно, да закрыть бы...

Иван Абрамович не договорил, дверь открылась, и Азарий явился. Маленько выпивший, раздумавшийся от ходьбы да от морозу: у подруги своей праздник встречал — мы же явились как раз в канун ноябрьских праздников. Оглядел застолье, протянул Вите руку, сказал, что рад познакомиться. Очень рад! Разделся и помог достать папе семейную сковороду с картошкой из горячей еще загнетки русской печки. Картошка покрылась хоть и хиленькой, жиденькой, но все равно золотистой корочкой. Азарий почесал затылок, что-то посоображал и нырнул с чашкой в подполье. Не прошло и двух минут, как он с приступком поставил эмалированную чашку с соленой капустой, легко взялся сам, минуя ступеньки, подтянулся на руках, вытер дно чашки и тоже поставил на стол. Мы с Витей переглянулись и, не помню уж который из нас, достали из вещмешка три луковицы, кусочек сала да горбушку зачерствевшего уже хлеба.

Недолго засиделись за столом. Мама видела, что Витя то и дело встряхивает головой, отгоняя усталый накатывающий сон, я держалась, но тоже уже через силу. Мама негромко распорядилась, кому где спать, чтоб высвободить кровать для нас, и папа тут же проводил Витю в верхнюю комнату, показал постель, погладил ладонью по подушке, мол, тут и спать станете, отдыхайте. Спите с Богом, а завтра... да утро вечера мудренее — еще покивал молодому зятю и неторопливо спустился по узенькой лестнице в кухню. Мы еще маленько поговорили с мамой, перескакивая в разговоре с одного на другое, и она сказала, чтоб я тоже шла спать. Тася ложки-чашки перемывает — вода горячая в чугуне есть, потом порастирает ей ноги муравьиным спиртом — не сиднем же сидеть.

Витя спал, отвернувшись к заборке, к стене вернее, чуток отодвинулся, освобождая мне место с краю. Зоря лег на другую кровать, где до войны спала Калерия, а на этой спали мы с Клавой. На Урале большинство домов, даже бывших купеческих — все двухэтажные, но лучше сказать — полуторазтажные. На нижнем этаже окна низко над землей и низкие сами по себе, а верхние — нормальные. В теплую пору кто-то спал в «летней» комнате, кто-то в летнем чулане — и вовсе вроде просторно делалось. А тогда...

Ранним утром, как мне показалось ранним, да и день все короче делался, ночи длиннее, потому, может, и не очень ранним, папа поднялся на вторую или третью ступеньку узенькой внутренней лестницы и, положив локти на пол-потолок — смотря откуда глядеть, — негромко позвал:

— Марей! Витя! Баня истоплена. Идите, мойтесь, пока не остыла. После такой дороги... Айдайте, мойтесь.

— Ладно, папа. Сейчас пойдем... Соберу бельишко да и...

Витя потянул на себя одеяло и вставать не собирался.

— Витя! Витя... Папа баню истопил, велит идти мыться...

— Вместе, что ли?

— Ну... может, ты пока мыться будешь, я в предбаннике подожду. Только так ведь не бывает у добрых людей. А они, родители-то, ведь не знают, не представляют, что... Давай, вставай. Вставай-вставай! — я подала своему Вите белье-обмундирование: положила чистые папины кальсоны, папину нижнюю рубашку, а верхнюю рубашку сняла с вешалки, из самодельного шифоньера, выбрала у брата, которая побольше. Себе тоже чистое бельишко положила, а на себя под халат надела армейскую рубашку, чтоб потом все снятое выстирать — семья-то ого-го-го получается, почти как раньше. Слезы к горлу подступили, но я тут же справилась с собой и, чтоб уж совсем отвечься, стала щекотить мужу подошвы, откинув одеяло, и тут только удивилась: до чего же они, ноги, у моего мужа большие! Надо же!

Витя зашел в баню, повесил снятую одежду на жердь почти над каменкой, чуть только в стороне, задел таз, уронил, выдал первый мат, не то спросонья, не то от досады. Собрался воду налить, ковш вроде оловянный, давнишний еще, увесистый взял и, не донеся его до бачка с горячей водой, поглядел на меня. А я стою у порога, тереблю тесемки от рубахи и всю меня колотун бьет, изнутри так прямо взбулндывает, и никак я не могла унять в себе эту дрожь, хотя в бане не то что тепло, жарко. И тут мой муж не выдержал:

— Ты зачем сюда пришла?! Мыться или меня караулить?! Чего торчишь тут? — И как полетели в меня и на меня матюки. Будь бы то камни — забили бы до смерти! Но это ж не камни. Додумать я уж не смогла, не помню, как скинула с себя ту рубашку, прямо с неразвязанными тесемками, нашарила второй таз, схватила ковш, крючком зацепленный за край бачка, пощупала на мокрой лавке мыло — не нашла — и принялась мыть голову. Вспомнила, как до войны мы всегда головы мыли щелоком: ставили ведро на привычное место, в углу, и или наливали через край, или осторожно черпали, чтоб не взбаламутить. Голова щелоком хорошо промывается, и волосы потом как шелковые делаются. Заглянула в тот заветный уголок в конце лавки, налила...

— Тебе че, воды мало, тянешься с ковшом куда не надо! — снова вскипел Витя, но уж не так, как вначале, но еще поматерился для порядка.

— Там щелок приготовлен... голову мыть...

— Так бы и сказала...

Витя еще и на полочку залез, чтоб попариться, а я никогда не парилась и направилась уже было к двери, чтоб еще разок окатиться да и в предбанник — одеваться.

— А кто на каменку сдавать будет? Папашу звать?!

И тут я решила: человек мыться намеревается основательно, чтоб все, как у людей.

Когда мы вернулись из бани, на столе уже стоял самовар.

Иван Абрамович собирался домой, мол, заждались дома, беспокоятся: «Ну, с легким паром вас. Рад был познакомиться с тобой, Виктор. Надеюсь, да почти уверен, что жизнь у вас наладится, молодые. Милости просим к нам. Конечно, угощение будет незавидное, так теперь пока время такое. Все наладится. Дорога установится — по реке и не заметите, как дойдете. Ну, всем еще раз до свиданья... Виктор, Маруся, — Иван Абрамович покашлял в кулак и с улыбкой повинулся, — уж не обижайтесь, что за воров принял. Ну, до свиданья!»

На другой день мужчины наши отправились на реку — вмерзшие в воду плоты вытаскивать. Почти всегда еще до заберега, до шуги успевали приплавить сено и плоты вытащить. В этот раз не получилось — помощников-то считай не осталось, вот и не вытащили плоты на берег вовремя.

Уработались мужики, усталые, намокшие явились, а у Вити моего — и нос набок. Уже сидя за столом, опорожнив бутылку мутной самогонки — с устатку да для сугреву, разговорились. Бутылку ту Иван Абрамович выставил по случаю удачной продажи мяса. Немного отпили тогда, остальную сегодня, когда работники, целый день выдалбливавшие обледелые бревна-плоты из реки на берег, очень в этом нуждались. Тут я и узнала о случившемся на берегу, когда Азарий выпустил из рук комель дерева раньше чем Витя, — не враз — и вершиной, вершина та все равно что бревно, только чуть потоньше — она-то sprужинила и тюкнула мужа моего по носу... Как и что там происходило, как папа был расстроен, ругал сына, мол, ты же не первый раз имеешь с этими бревнами дело, а парню впервой, непривычен он пока к этой, к «нашей» работе, дак нет шобы поосторожней, тебе ровно игрушки... ошпентил парня по лицу...

— Витя!.. Витя!.. Глаз-то хоть не задело ли, не повредило ли? Со мной тоже за жись-то всякое бывало, и терпенья нет от боли никакого, в глазах искры замелькают, но когда кровь пойдет — полегчает маленько... Што теперь сделаешь? Случилось

дак, уж што теперь? — И опять к сыну: — Глядеть же надо, принаравливаться. Один-то много ли натаскаешь?..

А братец мой винулся перед Витей, снег к носу все прикладывал, отбрасывал пропитанный кровью, лепил комок из свежего и снова к лицу зятя и уже как бы близкого друга — они быстро сроднились, сдружились, и уж навсегда.

Пока мужики работали «на сплаву» — вытаскивали из воды обмерзлые бревна, я выстирала Витино обмундирование, высушила. И так нагладила Витину гимнастерку и брюки — заглаженные: ни складочки, ни морщиночки! Медали и орден приспособила на определенное им место, носовой платок в брючный карман положила и повесила так, чтоб видно было не только белый подворотничок и блестящие пуговицы, но и боевые награды. Повесила на стул — как войдешь в комнату, сразу и увидишь. Сапоги начистила. А себе погладила только юбку, сложила ее на сиденье стула, а сверху кофточку, которую связала еще в Станиславчике, из немецкого мешка из-под сахара: голубая кокетка, манжеттики и резинка внизу, остальное — рябое, белоголубое, красивенькая кофточка получилась, а пуговку сменила на более подходящую. Выбрала в банке из-под монпасье, тоже начистила сапоги, разыскала довоенную свою шапку-берет, только из толстой белой шерсти, — тетя Тася еще показывала мне тогда, как вяжут береты. Пригодился тот берет мне очень!

Витя несколько дней подряд провел в военкомате в ожидании соответствующих документов, снес на барахолку, которую и барахолкой-то было назвать нельзя — просто толпа разного народа, то реденькая, то поплотнее, и там либо меняли, либо продавали-покупали, — продал новую пару запасного нижнего белья, сфотографировался, купил хлеба, кажется, полбуханки и пришел домой. В военкомате, когда после большого снегопада завалило железнодорожные пути и затормозило работу и движение поездов, набрали желающих поработать на станции, пока дела с документами с оформлением идут медленно. За снегоуборку в конце работы выплачивали определенную сумму, вроде по десять рублей за день. Я тоже времени зря не теряла: на час-другой уходила на поиски работы. Встретила знакомую, которая, конечно же, изумилась и не скрывала этого, что я, вернувшись с войны, не в пример многим другим, очень даже прибрахлившимся разными способами, в разных местах, иду в чиненной-перечиненной маминой шубейке на «лисьем меху», как говорится, в ее же подшитых валенках... Зашли в горсовет, прислонились к батарее, и я, перебив ее, собравшуюся расспрашивать, как да что, спросила: не поможет ли она мне с работой? Что в лаборатории я возвращаться уж и не хочу, и подзабыла все «инструкции» по анализам шлака, стали или чу-

гуна, а газовым больше не пойду... Да и мне бы — где карточка на хлеб побольше...

— Все поняла, — сказала мне в ответ моя знакомая, когда-то соученица, Нина Блинова. — Давай завтра, — взглянула на часы, — к двенадцати приходи сюда же, и мы, я уверена, все решим, — помялась маленько, оглядев меня, и прямо спросила: — Миля, а одеть-то у тебя есть чего-нибудь... кроме этого?

Я снова запереступала, как на каленых углях, от этого вопроса, как когда-то, там еще, но быстро справилась с собой и заверила Нину, что, конечно, есть — и форма, и шинель, и сапоги... были и платья, ты же знаешь, но сестренка их за войну износила. Да ты не беспокойся, приоденусь, не подведу, звонко уже заговорила я, через силу сдерживаясь, чтоб не разреветься от обиды, от стыда, от жалости к себе и к Вите: ведь мы тоже молодые и ничуть не хуже даже этой же Нины. У нее отец председатель колхоза, она единственная дочка, ей хорошо. У нас тоже все образуется, хотя когда, каким образом все наладится — понятия не имела, знала единственное, что у нас головы на плечах, руки, ноги, молодость.

Меня приняли в плановую группу Горпромсоюза, который объединял все артели местной промышленности. Работа как работа, на счетах считать я умела, в учетных ведомостях, где перечислялись изделия, выпускаемые цехами-артелями, иногда, конечно, делала ошибки: то против «саней» в графе укажу — пар, то в графе «сапоги» укажу — штук. Нина при проверке смотрела на меня иногда с недоумением, иногда с раздражением, я смущалась, потому что точно знала, что сто пар валенок, сто штук телогреек, двадцать штук одеял... Просто голова была занята совсем другим: как там, дома? Не простыл бы и не заболел бы Витя, работая на снегоуборке; не явилась ли Калерия, как мама, как дожить до полочки и, главное, как побыстрее выселить из флигеля квартирантов. Я ни папе, ни маме, ни тем более Вите не говорила, что захожу к ним и вечером, и утром, перед работой, то убедительно прошу освободить жилье, то настаиваю — сколько можно напоминать?

Карточку дали хорошую: 800 граммов хлеба, талоны на крупы на мясо или рыбу, еще нет-нет да мануфактуры выпишут, или меду, или валенки. Вите потом даже сапоги хромовые сшили на заказ, красивые такие сапоги — «джимми», но ноги-то у Вити «костлявые», ему нужен и взъем повыше, и вообще посвободней. Надел он эти новые сапоги, и пошли мы с ним в кино. Как уж он дошел вперед, как терпел весь сеанс — не представляю, но обратно уж почти всю дорогу на мне висел — что ни шаг, то и стон от нестерпимой боли...

Не помню, работал ли он еще на снегоборьбе или уже перешел на постоянную работу — дежурным по вокзалу. Азарий работал на заводе, зарабатывал хорошо, но было похоже, что в

скором времени собирался жениться на Соне Тимофеевой, там и находился большей частью, иногда и вовсе домой не приходил, объяснял с улыбкой, мол, места там много, квартира большая. Сестры у Софьи замужем, брат Иван преподавал черчение в ФЗО, и от завода живут поблизости. Нам же все равно, где он и с кем. Мама, давно знавшая семью Тимофеевых, успокаивала, как видно, себя тем, что в этой семье все порядочные и нашему Азарию с пути сбиться не дадут. Тася училась на счетовода при горфинотделе, а Вася последний год учился в ФЗО на маляра-штукатура, летом, во время каникул, подрабатывал где придется: кому-то избу побелит, кому-то поможет отштукатурить стены в избе. За это его кормили и давали немного денег. Но дома, вылезая из-за стола после скудного обеда, все спрашивал у мамы (или мечтал), скоро ли настанет время, когда все пообедаем досыта и на тарелке еще хлеб останется?..

Однажды среди ночи или уж и на утре мы проснулись от какой-то громкой суматохи, с плачем, с истерикой, с возмущением... «Явилась сестрица!» — догадалась я, еще лежала немножко, на Витю посмотрела — вроде спит, хотя какой уж тут сон, когда такой скандал, плач и громкий говор доносится снизу. Пожелала его — ему скоро на работу, надела старенький халат и спустилась вниз, в кухню, и, прислонившись к теплему боку печи, старалась сдержаться, не вступать в разговор с дорогой сестрицей: не утешать ее, не уговаривать, чтоб не кричала на весь дом — ночь ведь! Все спят! Утром всем вставать... Ничего я не говорила своей сестре, даже не поздоровалась — не выбрала момента. Она приехала не одна, ее сопровождал солдатик, покрасневший до ушей от всего происходящего. Никто на него не обращал внимания, не приглашал проходить, раздеваться. Тогда я тронула его за рукав, велела раздеваться и не обращать на это действие внимания, подвела его к умывальнику за печкой, усадив с краю за стол, налила теплого еще чая с морковной заваркой и достала с «полатей» пирожок. Солдатик быстро съел пирожок, выпил чай и не знал, что делать дальше. Я сняла с вешалки-гвоздя его шинель, папину телогрейку, еще чего-то и, кивнув ему, чтоб шел за мной, стала подниматься вверх. В ребячьей комнате раскинула на полу телогрейку, что-то подсушила в изголовье и, когда сестрин сопровождающий, не снимая обмундирования, лег, накрыла его шинелью — ему ехать в Нижний Тагил, значит, пойдут скорей всего вместе с Витей и он поможет солдатику попасть, устроиться в поезд...

Я снова спустилась в кухню. Калерия и не заметила, куда делся сопровождавший ее боец, все плакала и сердито выповаривала, мол, не могли встретить на лошади, что она еле дошла, что ей плохо, что лучше бы и не рвалась так домой. Тут же не за-

была напомнить, сколько посылок они с Петей прислали, старались и заботились не только о себе, а чтоб хоть как-то приодеть и их вон, братьев да сестру... Папа, пересиливая сон, попытался успокоить дочь, мол, утро вечера мудренее, что в тягости и не надо бы так расстраиваться да счеты сводить, в бедности всю жизнь жили, да не ерепенились из-за пустяков... Но дочь и папе принялась чего-то припоминать, давние обиды за бедность вечную, что, мол, днями Петя приедет, увидит, куда я попала, мол, не известно, чего и будет. Папа надел шапку, накинул полушубок и отправился в баню — спать. Я тихонько боязливо спросила: «Ты куда, папа?» — «Да не беспокойся, Марей, я в бане досплю, там тепло и тихо, да и не первый раз...»

Мама присела к столу, снова запоглаживала колени и все горестно вскидывала разболевшуюся голову, на каждый вскрик или громкие причитания Калерии. И тут я не выдержала, подошла к Калерии, — та сидела на табуретке и продолжала шмыгать носом, реветь или жалобно всхлипывать, — приподняла ее лицо, чтоб в глаза посмотреть и на пределе сдержанности, вполголоса сказала:

— Ты вот что, сестрица! Приедет твой Петр — ему и высказывай все свои претензии и жалобы, а сейчас, если чувствуешь, что пора подступила рожать — собирайся потихоньку, я до больницы провожу и подожду, когда тебя примут и определят, куда следует. А если еще время не наступило, то уймись. Ты слышишь меня? Уймись. Вон ложись на мамину кровать — у нее тут тепло и спокойно... Весь дом на ноги подняла своей истерикой! Будто режут... Завтра всем на работу, всем рано вставать, а ты тут... Уймись, еще раз говорю. А не то соберусь — и за «скорой помощью».

— Мария! Мария! Ты в своем ли уме-то? Она в тягости, может, ночью родит, а ты...

— Мама, иди и поспи маленько хоть на Зориной кровати, его дома нет. А родить — так пусть рождает, тогда и накричится... А сейчас-то чего орать? На кого? За что? Небось солдатику-то и спасибо не сказала, что помог...

Калерия уткнулась лицом в подушку, собралась было еще повывисываться, но я с силой задернула занавеску, отделявшую кухню от спальни, попила воды из ведра, накапала маме нашатырно-анисовых капель побольше, и она беспрекословно выпила, утерла усохшие губы, кончиком головного платка утерла слезы и, обратившись к иконе в переднем углу, с которой молчаливо и скорбно смотрел на происходящее Святой угодник Николай Чудотворец, тихо молвила:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси, сохрани и помилуй рабу Божию Калерию! Не остави ее, пресвятой Нико-

лай Чудотворец... Спаси, сохрани и помилуй!.. — Поднялась, собралась было подниматься наверх, но передумала, велела, чтоб я принесла из сенок широкую скамейку, приставила бы к лавке, которая длинно еще продолжалась от торца кухонного стола почти до стены. Я собрала всю одежду, которая висела как бы над папиной запечной лежанкой, вытянула оттуда старую соломенную подстилку, изладила подобие постели и помогла маме лечь, прикрыла ее суконной шалью да стареньким еще тети Тасиным стеженным жакетом и недолго посидела на табуретке, которую освободила сестра. Принесла из сенок ведро с водой и вылила в большой, шербатый с одного боку, чугунок, стоявший на шестке, самовар долила, углей из тушилки наложила сверху, на растопку скомкала какую-то бумажонку да мелко наломала лучинок, и трубу пристроила — все это на завтра, ногой подтолкала дрова под припечком, погладила маму по узенькому, усохшему плечу и ушла наверх досыпать.

Уснуť уж не смогла. Витя проснулся или дождался времени, когда надо собираться на работу. Вася тоже поднялся, а мама была уже на ногах. Разбудили солдатику, провожавшего сестру, чтоб тоже собирался, чтоб чаю попил да и дальше в дорогу направлялся бы. Не знаю, может, они вместе с Витей дошли до станции или порознь. Вася поспешил к автобусу, который подбирает учащихся ФЗО и повезет до места. Калерия крепко спала, а нам с Тасей можно не торопиться: ей к девяти, мне тоже, только подальше. Когда мы с нею вышли из дома, папа колом в дровянике дрова, нам кивнул, мол, ступайте с Богом, а сам присел на чурбак и принялся свертывать большую сигарку.

Калерия родила дома, на утро следующего дня. Заслышав не то писк, не то детский плач, Витя ворохнулся настороженно, а я слетела вниз, не считая ступенек.

Мама уже приняла роды. Черпала горячую воду из чугуна, выливала в банный таз и уносила за занавеску... На мой лишь глазами высказанный вопрос: «Почему дома? Почему не в больнице?» — тихо и виновато отозвалась, мол, не согласилась Калерия идти рожать в больницу, боюсь, сказала. Я переждала время, тихо вошла в спальню, погладила сестру по голове. Она открыла глаза нашарила около себя малюсенькое живое существо — сынка своего — и успокоенно опять смежила глаза и оставила руки лежать, как лежали — обессилела после родов...

Мама шепотом, перемежая рассказ, что и как произошло, с молитвами, тихо наказала мне, чтоб позвала Евдокию Ниловну — соседку, жившую по другую сторону линии. Та быстро пришла, и они уж вместе с мамой обихаживали роженицу и младенца... Я снова ушла наверх, осторожно легла с краю на не-

широкую кровать, хотела чуть пододвинуть мужа к стене, но он не спал и, когда я улеглась, тихо спросил:

— Кого Бог дал? Все нормально?

— Племянника, — тоже тихо ответила я, — пока вроде все нормально, а вообще-то, откуда я знаю?..

В этот день на работе я опять нет-нет да и считала лапти, к примеру, штучками, рубашки парами, телеги парами, перчатки штучками.

Петр, муж Калерии, приехал через неделю. В тот день нас как-то легко и просто, будто само собой так получилось, будто так и полагалось, переместили на мамину постель, мама на короткие часы беспокойного сна устраивалась на папиной лежанке — за печкой. А сам папа то на полу в ребячьей комнате, где теперь спали Тася — на кровати, Вася и Азарий — на полу, и иногда папа тоже лепился с краю, или уходил спать в баню, иногда устраивался на печи...

Петр с первого дня повел себя по-хозяйски, то Васю, то Тасию без стеснения посылал за квасом на хлебозавод, благо тот был неподалеку, и квас продавался у проходной в ларьке почти постоянно.

Тут уж я не на шутку взялась за квартирантов, стучала-зыбала в дверь через час да каждый час. Однажды, когда дверь оказалась незапертой, вынесла имущество квартирантов, что смогла, в сенки, сказала, что это только для начала, потом же вовсе выкидаю все ихние пожитки на улицу, а то и дом подожгу, а они отвечать — платить страховку за него станут — они ж тут жили...

А в нашем перенаселенном доме делалось все беспокойней: то ребенок плачет, то Калерия сводит какие-то свои счета с мужем — Петром Мироновичем, то сообщает судят-пересудят и маму с папой, и всех живущих в доме, нас, конечно, тоже, и как только хотят, перемывают наши косточки...

Петр Миронович, муж Калерии, приехал утром в последние дни февраля. Калерия родила без него, ей — не позавидуешь, а малому что? Был бы сыт да пеленки сухие, да тепло и ласка...

Когда с работы пришел Витя и увидел нового родственника, недавно явившегося, но уже чувствующего себя хозяином, не очень довольного от знакомства с семьей супруги, вообще, от условий, в каких ему довелось оказаться, — поздоровался, умылся, сел за стол, ожидая еду.

— Миля! Теперь вот Петр Миронович приехал, да Каля с ребенком, так мы уж их там в верхней комнате и определили... — Я жду, что она скажет еще. — А вы уж тут... и мы тут — в тесноте да не в обиде, питаться станем, чем Бог пошлет.

— А мы что-то особенное требовали, мама? Мы чье-то место заняли? Или я не ваша теперь уж дочь?.. Чай пить перед ра-

ботой и ужинать после работы мы с Витей будем дома. Как всегда. Все остальное я для себя и для нас всех делаю сама. За молоко, когда ели — расплачивались трудом...

Достала из печки толченную картошку, в чашку капусты положила, хлебушко разделила по справедливости: папе, Вите и Васе — побольше, нам — поменьше. Витя достал из кармана несколько конфеток, правда, утративших товарный вид, но все равно к чаю хорошо. Я огляделась, кого позвать к столу — кто еще не ужинал? Но ни Таси, ни Васи поблизости не было, папа лежал за печкой — отдыхал или грелся, мама сделала отмашку рукой, мол, обо мне не беспокойся. И мы стали есть, тихонько переговариваясь: как день прошел, не встретил ли по дороге домой кого из знакомых?..

Витя ушел из-за стола, взял сигареты, может, табак, спичками в коробке пошорохтел — есть ли — проверил и, накинув спецовку, вышел на улицу покурить. Я вымыла посуду, все прибрала за собой, хотела подняться вверх, да передумала, расстелила на одном конце стола старенькое байковое одеяло, разогрела утюг и принялась гладить белье. Петр ни о чем не спрашивал, видимо, Калерия или мама уже рассказали, когда мы приехали, что вот работаем оба, что квартиранты никак помещение — избушку — не освобождают... так, мол, уж все одно к одному...

Время было еще не позднее. Витя, вернувшись с улицы, подошел и тихонько спросил-предложил, может, мол, в кино пойти? Я с радостью согласилась, убрала утюг на шесток, недоглаженное белье завернула в одеяло и толкнула в угол на скамью, как бы под иконы, переоделась, переобулась, глянула на себя в настенное маленькое тети Тасино еще зеркальце из толстого стекла, поправила берет на голове и сказала:

— Мы с Витей в кино. Ключ взяли. Не ждите, ложитесь, мы тихо постелемся и ляжем.

На Петра даже не взглянула — очень уж он мне напоминал того замполитотдела, старшего лейтенанта Ктиторова, и мне понадобится немало времени, особенно большого усилия, чтобы вытеснить, изжить из памяти того, который топал на меня, кричал с провизгом, говорил неводержанно-оскорбительно, изрыгая зло и неприличность выражений. Все это от бессилия, скорее даже от досадной, обидной несправедливости — почему его, старшего лейтенанта, заставили командовать сопливыми девчонками, вместо того чтобы быть среди бойцов и бесстрашно, боевыми словами, вдохновлять бойцов на бой, победный и справедливый, на бой во имя защиты отечества... А ведь то были лучшие, самые красивые годы в жизни каждого человека и самые горькие... И такие вот, как наш замполит Ктиторов, как госпитальный замполит Блинов, оравший и топавший на ране-

ного солдатака-«самострела», приравниваемого, по его словам, к изменнику родины... А чем лучше этот? Мой новый родич, муж сестры, ответивший мне на письмо, адресованное ей, сестре, что я такая-то и такая-то, что еще губы не обсохли, а уж замуж засобираюсь, да за беспризорника, и, выходит, им с Калерией и нас еще предстоит кормить и одевать — все во мне накопилось от этих мыслей-воспоминаний... Он же нас и в глаза-то еще не видел, а уж взялся читать нравоучения!

Витя ждал, покурился, крутанул головой, мол, больно уж долго собираешься, вся кина кончится, и мы тропинкой вышли на центральную улицу и впробегу ринулись к кинотеатру, чтоб успеть на сеанс. Много мы тогда посмотрели с Витей трофейных фильмов, да один лучше другого, и актеры, и содержание, и много музыки... Когда подошли к дому, Витя свернул за дровяник, к нужнику, а я мимо дома напрямик к флигелю, попинала в дверь и, заслышав шаги и оклик: «Кто там?» — резко и громко отозвалась: «Хозяева! Хочу напомнить, чтоб выбирались подобра-поздорову, пока дело до худого не дошло! Сколько можно напоминать? Сколько можно ждать? Я действительно под горячую руку подожгу эту нашу избушку... вместе с вами... подожгу — и все дела!» Еще раз пнула и ушла.

— Ты куда ходила? К ним, что ли? — изумился Витя.

— К ним, конечно! Им я житья не дам — это точно! Пожили в войну сытно да безбедно, теперь другое время наступило — долги отдавать.

— Ты так и... серьезно, что ли?

— Серьезней не бывает...

За печку, на папину лежанку, да еще вдвоем мы спать не легли. Подстелили, что нашли, в угол, неглаженное белье я приспособила себе как подушку, Вите достала подушку с папиной лежанки, покрыла невыглаженной, но выстиранной наволочкой, широкое полотенце подостала ему вместо простыни, и поскольку там, с той стороны стола расстояние между лавкой и столом шире — мы чуть отодвинули стол и втиснули туда еще три ровненькие табуретки... Мама, увидев нас, спящих не по правилу, тревожить не стала, ходила туда-сюда на цыпочках, настраивала самовар кипятить, а печку растоплять времени-ла — скоро уж всем подыматься, тогда и...

Однажды, в субботу дело было, папа баню топить собирался. Зоря с Васей воду носили, а мы с Таисьей принялись мыть полы. Она потихоньку утянулась вверх: там пол крашенный и чистый — легко мыть да не забыть цветы полить, да еще и надежда все-таки теплилась в девке: вдруг чего-нибудь «выделят» родственники из своих трофеев — вон их сколько! И на стульях, и на кровати, и на вешалках, и под стульями — везде. Она

уж незаметно и туфельки примеряла, да и не одни. Может, которые и ей достанутся?..

Я мою пол в кухне. За перегородкой уж вымыла, кое-что вытряхнула, на улице на забор поразвесила, окна протерла, ножки у стола, табуреток и лавок тоже, одним словом, делаю дело и радуюсь, что никто не колобродит, не шлендает туда-сюда. А Витя мой! Мой молодой муж натянул на себя мою военную юбку, на голову — мою такую славную шляпу, даже с пером, с чуть приспущенными полями — я-то ее люблю, да носить не с чем, а он, как в туалет приспичит, на ноги валенки или сапоги, на плечи телогрейку или куртку, а на голову непременно мою шляпу! И чего она ему далась?! И веселит меня — развлекает: поет веселые матерщинные частушки да еще привстанет, зашпинет пальцами юбку по бокам, хотя она и так в обтяжку ему, и пританцовывает. Я посмеиваюсь, он веселит, дело делается. И вдруг входит Серафима Андреевна! Крестная моя! В гости приехала! И что же видит за картину? Приснула, конечно, не сдержалась, я быстро руки вымыла, и мы расцеловались с нею, затем она к Вите, обнимает его, целует и со смехом разглядывает.

Я пока прошу ее проходить на чистое, Витя, так в юбке и в шляпе, самовар разогревает. И входит мама. Улыбнулась гостю, обняла ее, проходить приглашает, а сама вся в растерянности и усталом смущении. А крестная тут сразу же ей и высказала свою за нас обиду:

— Что же вы, кума, так с молодыми-то? Они ж только жить начинают, такие молодые, такие милые. А вы их за печку?! Пусть ребята, Зоря с Васей, спят по запечкам, а с молодыми так нельзя! Нехорошо. Неужели забыли, как вы-то молодые были?!

— Да чего о нас говорить-то? Как мы жили в молодости, никому бы не пожелала... И их, конечно, жалко, — тихо и горько отозвалась мама. — У нас ведь Калерия приехала, днями сынка родила... А позавчера и муж приехал. Они теперь вместе. И душа за них не болит.

— Вот видите! Вот видите! Они вместе, а этих — в закуток! Да вы на них только посмотрите, до чего они молодые да хорошие! Ведь домой-то, с войны-то, ждали? Да еще как! А дождались и хоть под порог...

Мама ушла за занавеску, заплакала. Серафима Андреевна еще маленько поговорила с нами, уж о другом, и ушла успокаивать маму. Слышим, она довольно громко, видать, чтоб и мы слышали, сказала, что от чайку не откажется, а ночевать не останется, ее Анна Ивановна ждет — она приболела, тоже повидаться хочется... Я закончила по-быстрому с полом, половичок под порог раскинула, руки вымыла, подшторники задернула, халат передела и стала собирать на стол: клеенку протерла до

блеска, достала чайные чашки и кружки — кому чего, хлебушко, оставленный на завтрак, тоненько нарезала, рябины в решете Вася с сеновала принес, яркой, заиндевелой, красивой. Крестная достала из сумки гостинцы: крендельки малюсенькие, витые, шанежки с картошкой и стакан варенья.

Мама заикнулась, мол, тех-то бы тоже позвать надо, чаю попить, но папа тихо молвил, мол, утихомирились недавно, ребенок успокоился, пускай спят...

Чай пили без радости, без веселых разговоров и улыбок — какое уж тут веселье? Серафима Андреевна еще недолго посидела и засобиравшись, мол, пока не поздно, а идти далековато. Витя помог ей одеться, и она, оглянувшись на оставшихся за столом, обняла меня крепко, поцеловала. Витю обняла, оглядела его с печальной улыбкой и сказала, чтоб всем было слышно:

— Ну, живите, мои милые-хорошие! Миля, теперь, когда сама уже женщина, жена... стала мне еще ближе и дороже. — Помолчала, подумала недолго и напоследок сказала: — Если ничего не наладится, если так все и будет, тогда перебирайтесь к нам, поможем, чем сможем, и с работой, и с жильем. Поможем. А пока потерпите, главное, будьте здоровы и не падайте духом... Пелагия Андреевна, Семен Агафонович, ребята! До свиданья. Всего всем доброго да хорошего. Пелагия Андреевна, держитесь и все-таки подумайте и о них. Вы же всегда были такая мудрая, умная, решительная и терпеливая. Оставайтесь с Богом! — Она на мгновение припала к маминой исхудавшей спине, папе подала руку, повернулась и вышла из избы. Витя вознамерился проводить ее, но быстро вернулся, видимо, крестная моя хотела побыть наедине со своими раздумьями.

Петр Миронович — я его ни за глаза, ни в глаза иначе не называла, не буду, не смогу и через силу улыбаться ему не буду: для меня он на всю жизнь так и останется как недобрый, самолюбивый человек. Как тот старший лейтенант Ктиторов... Петр Миронович, видимо, решил, что Витя ушел провожать гостью, спустился в кухню и с ходу, недовольно и с укоризною заговорил:

— Пелагия Андреевна! Почему же вы позволяете каждому встречному и поперечному вами командовать, поучать, нотации читать?

— Это не встречные и поперечные, Петр Миронович, как вы изволили выразиться. Это замечательные, достойнейшие люди, не то, что некоторые, не указывая на личности, — Витя расходился в праведном гнев, но пока еще не матерился, и это было всего страшнее. — Это крестная моей жены, Марии Семеновны, кума Пелагии Андреевны и Семена Агафоновича...

— А ты-то тут при чем? С тобой же не разговаривают! — презрительно смерил взглядом Петр Миронович Витю. — Ты-

то сам тут кто и по какому праву так смеешь говорить со мной, старшим по званию.

— Да говно ты, а не старший по званию! Дармоед, нахалавший трофейного добра!.. Не тобой нажито, не для тебя готовлено. Гнида ты тыловая, нажившаяся на чужом горе... Да я с тобой не то, что... я срать с тобой рядом не сяду, понял?! А не понял — поясни! — Витя направился было к заносчивому новоявленному свояку, но неожиданно круто повернулся, схватил со стены куртку и выбежал из избы, направился к флигелю. Я за ним. Витя почти сорвал с петель слабенькую дверь в сенки флигеля, ворвался в кухню, схватил со стола нож и, крепко зажав его в руке, двинулся на перепуганную квартирантку. Она завопила на всю округу:

— Ре-е-жу-у-т! Спасите-е! Он сейчас нас всех порешит!.. Спасите-е!..

Я схватила Витю сначала за куртку, сползла к ногам, ухватилась за штаны и, срывая до крови ногти на пальцах, изо всех сил пыталась оттащить его, выволочь из избышки на улицу.

На улице он как бы опомнился, увидев в руках нож, поразглядывал его и остервенело закинул далеко в огород. Затем упал, зарылся лицом в снег и горько, надрывно заплакал:

— Да что же это такое? За что-о?! Зачем я не подох, когда был непризорником?... Зачем меня не убило на войне? Н-ну, зачем? Зачем ты меня сюда привезла, скажи ты мне на милость?!.

Я на какое-то время обмерла от ужаса, представив, что могло произойти, затем, оглушенная его рыданиями, упрёками, сильно порастирала себе лицо снегом и после этого, давясь слезами, сама умирая от горя, стала уговаривать, умолять Витю, чтоб он поехал бы в Сибирь, в родную деревню — повидаться... Я тут все устрою, все налажу: этим не дам житья, такое надеваю — сами сбегут...

— Витенька! Милый мой! Любимый мой и такой несчастный. Я это... без вины виноватая... Наша семья была до войны дружная, хорошая. Разве я думала, что все так будет? Поезжай, родной мой, поезжай. Повидаешься со своими родными... Не все же за войну озверели. Поезжай, а потом приедешь. Когда приедешь, все будет хорошо, все наладится. Миленький мой, я не знаю, как тут без тебя буду? Да пусть хоть как, хоть умру, только бы тебе было полегче... Я тебя никогда не забуду. Я всегда буду любить тебя, ждать тебя, думать о тебе.

Витя будто очнулся от моих причитаний, посидел еще немного, меня обнял, подумал и сказал:

— Наверное, мне действительно надо уехать. Повидаешься... Пожаль, сегодня же и уеду.

И уехал мой Витя. Не заверил, что скоро вернется, но, наверное, подумал, как поэт Рубцов в своей прощальной песне:

«Может быть, я смогу возвратиться, может быть, никогда не смогу». С этими мыслями и чувствами я и проводила своего молодого мужа. А сама...

Квартиранты после этого случая быстро, даже торопливо освободили одну комнату во флигеле, и я тут же — меня в трудное время всегда работа выручала, а в эту пору такая выручка была мне крайне необходима, — не теряя времени, взялась за дело: принесла из артели «Трудовик» ведро извести и малярную кисть, отпросилась у Нины — начальницы своей непосредственной на три-четыре дня и принялась орудовать.

Я шумно, без осторожности двигала, белила, мыла, топила печь, грела воду в самоваре, взяв у родителей на временное пользование большой самовар и тушилку с углями. Углей оказалось мало, тогда выбрала, которые покрупнее из каменки в бане. И все бы хорошо. Но на дворе февраль, в избе выстывает, а дров-то нет! Брать у родителей — вроде совесть иметь надо, — им они нелегко и не даром достаются...

Умылась, переделалась и опять подалась в артель «Трудовик», в которой шили и чинили обувь, где-то в филиале при леспромохозе гнули полозья к саням и собирали сами сани, делали колеса к телегам, оковывали их железными обручами, там изготовляли и сами телеги, плели лапти для лесозаготовителей — на летнюю, так сказать, сезонную работу и на продажу, шили брезентовые фартуки. Много чего разного, вроде и незavidного, но такого нужного в жизни жителей нашего города Чусового — полукрестьян, полурабочих. Именно в этой артели больше всего отирался, находился — если сказать более культурно — завхоз Прядейкин, в народе, среди рабочих — Петруха. Пройдошлый был тот завхоз Петруха — дальше некуда, все мог, во всяком случае, все обещал и исполнял иногда обещанное, приходил на помощь, иногда за пол-литру или какую выгоду, иногда — из-за понятливости, мол, все знаю-понимаю и сочувствую. А видом был схож с артистом Новиковым, который часто в кинофильмах играл таких же ушлых, хитрых, пройдошистых героев.

Как говорится, на ловца и зверь! Я еще только взялась за ручку деревянной двери, ведущей во двор артели, или в расположение, а Прядейкин мне навстречу. Я тут же высказала свою нужду, что дров надо бы купить и не тянуть бы с этим делом, поскольку на улице не лето, а нам, двум добровольцам-победителям, вернувшимся только что с войны, не с собой же тащить было топливо, которого там осталось — не один город топливом обеспечить можно было бы...

Прядейкин подумал, затылок почесал и спросил: за какую

сумму брать? Говорю, что не очень бы дорогие, так подешевле, да и денег у меня все равно нет, в получку рассчитаюсь. А Прядейкин мне тут же с вопросом:

— Да кто же мне в долг дрова продаст, сама подумай! И ты ведь не продала бы, как тебя звать-величать-то?

— Мария Семеновна.

— А-а, новенькая из конторы? — Я кивнула. — Ты, Семеновна, перехвати у кого денег до получки-то, со своими легче сочтешься, а покупать в долг... не знаю... не уверен, что выгорит.

— Ладно. Сколько надо? Сколько может стоит воз дров теперь?

— Сотню хоть как, но выложи. Моя забота дров найти, что купить-продать... думаю, расстараясь...

Вернулась я домой, опять переоделась в рабочее, самовар разожгла, думаю: дело делать буду и обдумывать насчет денег. И тут меня осенило: у Конюшихи всегда деньги водятся, сотню-то уж даст. И снова сняла с себя старый Васин лыжный костюм, в котором работала, надернула кофту под шинель, штаны вывернула — левая сторона чистая, а швы под шинелью не сразу кто разглядит. Бегу через линию, брыкаю кольцом в калитку, собака из конуры по проволочному блоку к самым дверям подбежала, зубы скалит, рычит, лает залиvisto. Я встала на цыпочки, чтоб Конюшиха увидела меня из-за калитки. Она быстро показала на крыльце, увидела меня: «А-а, Милечка!» — воскликнула и махнула рукой, чтоб подождала маленько, мол, собаку закрою и приду. Маленько поговорив, без большой, конечно, охоты, но она дала мне сто рублей и приглушенно, как бы в смущении добавила: мол, на месяц и с процентами, что поделаешь, время такое, а всем жить надо.

С процентами так с процентами. Ростовщица объявилась! Ну да как-нибудь. Наконец, крупяные да мясные карточки загоню — не умру, а без дров как? Не у квартирантов же брать? Они и так уж, наверно, поленья давно пересчитали. Думаю так, раздумываю и бегу с линии, вообще, несусь, как на крыльях, и с ходу к маме, отдаю ей деньги, объясняю, что вот-вот дрова должны привезти, что свалят пока около вас, а ты рассчитаешься, а я вечером перетаскаю...

— Да и не подымешься, не поглядишь на племянника-то?

— Потом, мама, сейчас вот как некогда...

— Ты хоть ела ли?

— Ела, ела.

А чего уж там ела? Утром корочку от заветной полбуханки отрезала — норма же 800 граммов! Покруче посолила да кипяточком запила. Снова за работой. Белю, хожу туда-сюда, не соблюдая как бы правил общежития, где плесну нечаянно, то уроно чего... Белю, о Вите думаю, о себе и плачу, плачу — его жал-

ко, себя жалко. Глаза и нос щиплет, ест — не то известка попала, не то от слез да от едкого запаха. А тут еще песня попала на язык. Слезами захлебываюсь и напеваю с перерывами, с подтрясом, как позже услышу выражение в Сибири, «мол, поет да с подтрясом!..» Так и я — пою с подтрясом:

Зашел я в чудный кабачок, вино там стоит пяточок,

И вот сижу с бутылкой на окне.

Не плачь, милашка, обо мне...

Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю,

И когда вернусь — не знаю. А пока — прощай!..

Тут уж я вроде не пою, а с подвывом выговариваю:

Прощай и друга не забудь.

Твой друг уходит в дальний путь.

К тебе я постараюсь завернуть

Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь...

Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю.

И когда вернусь — не знаю. А пока — прощай!..

Так и работаю: пою, плачу, белю. Когда начала белить стену, по которой шла электропроводка, меня то и дело стало дергать током, всю встряхнет и постепенно пройдет. Дело пошло тише, медленней, с боязливой осторожностью пробеливаю те места, где провода, — проводка-то старая, изоляция потрескалась, обмахрилась. Только песня ну никак не отвяжется от меня, то со всхлипом, то с испугом, но все за свое: «Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю... И когда вернусь — не знаю, а пока — прощай-ай...»

Время от времени слышу, как квартиранты ходят туда-сюда, из кухни в комнату, из комнаты в кухню... Мешаю я им своим залиvistым пением, ну и пусть. Мешаю — пусть уходят на все четыре стороны. Вот еще и квартплату взыщу за месяц вперед.

Ох, какая я злая и несчастная была тогда, особенно в первый день. Умаялась до упаду и только направилась домой, сказать, что спать пошла в баню — там обмоюсь, там и посплю. А мама смотрела, смотрела на меня, потом и сказала:

— Мила! Дрова-то привезли. Правда никудышные — сплошной жердинник. — И я только собралась ответить, что на безрыбье и рак — рыба, и тут слышу: — Только и жердинник тот увезли — хозяева нашлись... Чужие дрова тебе тот мошенник продал... краденые...

Тут я и села. И окаменела, не имея сил ни на слезы, ни на возмущение. Пришла маленько в себя да и отправилась в теплую баню — спать.

На другой день, ровно к тому часу, когда заведующий Горпромсоюзом Кокарев Герман Иванович должен явиться на работу, присела в коридоре у дверей в его кабинет и стала ждать.

Разговор не сразу получился, и вопрос мой насчет дров тоже не сразу решился, потому что Герман Иванович пытался все меня спровадить в военкомат, мол, демобилизованные, только что вернувшиеся с войны — обязаны помочь. Я кратко обрисовала картину, что там, в военкомате, делается — это только чтобы документы получить, а о дровах кто там со мной говорить станет?

Он доказывал, что должны, и предлагал не терять времени и идти. А я как села, так и сидела и никуда уходить не собиралась, пока не помогут мне. Затем Герман Иванович подал мне листок бумаги и велел написать коротенькое заявление: от кого, кому и изложить просьбу. Я написала, расписалась, число поставила — все, как надо, сделала. Он прочитал заявление и изумился:

— Корякина, что ли? — я кивнула, поскольку в Прошлюбое моя девичья фамилия значилась.

— Ну, ты и настырная!

Я, заполучив бумажку-заявление с резолюцией, подтвердила, что у нас все такие! Сказала: «До свидания!» И взялась за ручку двери.

— Послушай, Корякина! А деньги-то у тебя есть, чтоб расплатиться за дрова?

— Нет. Но будут. Я же здесь работаю. Получку получу и рассчитаюсь.

— Иди сюда!

— Зачем?

— Заявление давай!

— Зачем?

— Господи! Зачем, зачем? Распоряжусь, чтоб тебе дрова бесплатно выписали.

Я положила свое заявление на стол перед начальником, однако один угол заявление придавила пальцем и не отпускала. Начальник и это заметил, улыбнулся грустно и добавил:

— И правда, настырная! И правильно! Позови ко мне бухгалтеря.

На этот раз привезли мне дрова законные, хорошие, возчик Шаклеин помог перетаскать к стене флигеля, потому что подъехать к нему вплотную ни с какой стороны невозможно.

Поздним вечером мы с Азарием ширикали те дрова, он кол, я складывала их в сени, освободив для них место у стены, а барахло квартирантов так и оставила лежать костром посреди сенок... Посидели с Азарием маленько в кухне, поговорили, чаю попили — он достал две конфетки: Сонька, говорит, устала. Погоревали, а перед уходом он заверил, что скоро Вик-

тор приедет, помяни мое слово! А Калерия, видать, захворала, лежит с температурой. Врача вызывали. Приезжал тот, который и патологоанатом, всегда полупьяный, выписывает аспирин, слушает... только не знаю, чего слышит, — одна половинка фонендоскопа вечно болтается возле уха, а другая — в ухо вставлена, где ей и быть полагается.

Я отчего-то сразу и охотно поверила брату насчет его предсказания, что скоро Виктор приедет, и проворней делала начатое дело. А Азария еще попросила, чтоб он почаще заходил да погромче, чтоб квартиранты слышали, сообщал, что Виктор вот-вот приедет! Мы с братом Азарием жили, в общем-то, дружно. Он, когда поменьше был, то частенько младших обижал: то дразнит, то щипать примется, то игрушку самодельную изломает или за печку забросит, бывало, и в печку кидал. За чем? Почему? А прекратились его такие выходы разом. Сидели мы всем семейством за столом, ждали, когда супу нальют, и брат давай дразнить ребятшек, Вася и заплакал:

— Мама, а чего Азарий дразнится?

А тетя Тася сидела от Васи поблизости и все наблюдала, да и сказала:

— Вася! Ты вот славенький, хорошенький, сидишь себе и никого тебе дразнить не надо. И Азарий не дразнится — он такой кривой и есть...

И все как рукой...

Моя малярная и всякая черная работа в комнате подходила к концу, я уж и печь выбелила, и окна вымыла, сколько было возможно, только пол красить в зимнюю пору — дело бесполезное, и я тогда зашла на работу, чтоб сказать Нине, что через два дня выйду на работу. Рассказала, чего уже сделала, чего еще осталось, а осталось, сказала, самая малость: дожидаться получку и наведаться на барахолку, чтоб купить ситчику — двери занавесить, чтоб из кухни не так пахло, да и за занавеской не все будет видно моим квартирантам, а то следят за каждым шагом, как за вором. Сказала, что пол красить передумала, вернее, отложила до тепла — поинтересовалась у Нины: ткнут ли у них в деревне половики? Мне бы полоски две, на середину. Она сказала, что сегодня как раз поедет к родителям, все и узнает, может, и привезет чего, и тут же, как бы спохватившись, сообщила, что в Горпромсоюзе только что закончилась ревизия, списали один стол и несколько стульев, мол, если нужны, то можно взять — хоть на первое время. Я обрадовалась.

Теперь у нас с Витей есть все! Почти все! Нет только главного — самого Вити. Я проглотила закипевшие слезы, поблагодарила Нину за участие. Она отмахнулась, сказала, что Артур — конновозчик — так называемую мебель привезет сегодня же,

как освободится, а я вернусь от своих из деревни и, думаю, тоже кое-чем порадуя маленько.

Я еще забыла рассказать, что, когда мы с мужем вернулись с войны, мама настояла, чтобы мы, не откладывая надолго, съездили бы в Лысьву, навестили бы мою крестную и наказала, чтоб мы, когда войдем, непременно поклонились бы ей в ноги — не переломитесь, а куме будет приятно.

Явились мы тогда к Серафиме Андреевне, замешкались у порога. А она была столь проницательна — сразу почувствовала наше замешательство и громко, с улыбкой воскликнула, мол, кума, небось, на колени пасть велела?! Обняла нас, поочередно расцеловала и велела проходить.

Мы прогостили тогда у них три дня. Алексей Ефимович — муж моей крестной — быстро с моим молодым мужем сошлись, шумно разговаривали, смеялись, про охоту разговаривали, на прощанье крестный подарил моему мужу свое ружье — на память, сказал, что может, и пригодится. Серафима Андреевна поставила перед нами два ведра: одно с мукой, другое с картошкой, зеленый эмалированный чайник, две чашки суповые, две тарелки — тоже эмалированные — там завод местный выпускал, пару простыней дала, новое нижнее белье Алексея Ефимовича, две пары носок да пять метров марли с придачей — метров десять нешироких кружавчиков, мол, пришьешь, и получатся шторочки на окна — на первое время...

Здесь, пожалуй, самое время пояснить, почему меня многие в семье, да и знакомые называют Милей. Когда я появилась на свет, мама решила пригласить в крестные образованную и красивую дочь всеми уважаемой в ту пору соседки Ульяны Клементьевны Коняевой. Папа, отдохнув после дежурства, принял стаканчик зеленого вина — в честь прибыли в семействе и за здоровье, пообедал, надел на себя все выходное и отправился сначала в ЗАГС — там получил на меня метрическую запись, написанную красивым почерком и заверенную крутой печатью. Затем зашел в железнодорожный магазин и выкупил полагающуюся на новорожденную мануфактуру — по десять метров полотна и фланели. Вышел из магазина, поставил возле ноги сумку, убрал документ во внутренний карман, свернув сигарку, закурил и пошел в контору участка, где работала моя будущая крестная. Войдя в служебное помещение, снял форменную фуражку с перекрещенными молоточками над лаковым козырьком, пригладил волосы, сказал: «Доброго здоровья!» — и, приблизившись к столу молодой соседки, молвил:

— Серафима Андреевна, баба моя просила тебя к нам зайти.

— Зачем же понадобилась я Пелагии Андреевне? — поинтересовалась она.

— Приди, раз просит. Сделай милость.

После обеда зашла к нам Серафима Андреевна, как всегда, хорошо одетая, поздоровалась и, будто не понимая, зачем ее звали, подошла к маме, справилась о здоровье.

А мама того и ждала:

— Серафима Андреевна! Окрести, пожалуйста, не откажи! Дочку Бог дал.

— Почему не предупредили? Мне же приготовить все нужно.

— Да все приготовлено. Не откажи, сноси, окрести.

Серафима Андреевна головой повела на младенца, на меня, значит, взглянула, с мамой ласковым взглядом встретилась и тут же спросила настороженно:

— А какое имя дали? Как называли девочку? Может, Анной или Марией?

Папа взял кисет, спички и вышел из избы, а мама отчего-то виновато призналась, что отец записал Марией, значит, Мария и будет...

— Не пойду крестить! — неожиданно рассердилась Серафима Андреевна. — Марья да Иваны — грибы поганы!.. — Походила туда-сюда, снова к кровати подошла, подумала.

А мама опять:

— Окрести девчонку, голубушка! Не оставаться же ей некрещеной. Сходи, окрести, пожалуйста!

— Ну, ладно, — милостиво согласилась Серафима Андреевна. — Тогда хоть Милей ее зовите. Только не Марией.

Так и пошло, Миля да Миля, и в семье все звали Милей. Но не папа! Он всю жизнь, до последнего часу иначе, как Марией меня не называл, хоть выпивши, хоть больной — Мария! — и все тут.

Когда я поступила в техникум, то иногда ходила к крестной в гости. Там меня угощали, одаривали чем-нибудь, а она непременно всякий раз пересказывала мне отрывки из романа «Воскресение», где говорилось о Катюше Масловой, и после со значением напутствовала: «Милечка! Учись прилежно, води себя скромно. Видишь, как все может произойти в жизни. Освоишься с учебой — тогда я дам тебе почитать эту поучительную книгу».

Серафима Андреевна была человеком удивительным: любила театр и церковь, читала книги и газеты, следила за политикой, иногда с гордостью вспоминала, что в молодости читала романы на французском. А однажды призналась мне, что теперь я стала ей еще ближе и дороже... Много они значили в моей и нашей жизни, и я часто их вспоминаю.

Витя приехал из Сибири в середине марта. Я уже правдами и неправдами перебралась в отдельное жилье — квартиранты

со скрипом, как говорится, но освободили флигель, где-то сняли половину дома, я не интересовалась где, однако их дочь Тая, начавшая преподавать в музыкальной школе, при встрече всегда здоровалась, с улыбкой и смущением то расскажет про школу, то об отце, который давно уж «не просыхает», и разоидемя — она не приглашает заходить к ним, я тоже.

Однажды, когда спешила на обед, а мне еще непременно надо зайти к нашим: Калерия заболела тяжело — ее попроведовать, узнать, что врачи говорят, ключ взять — оставляла на всякий случай — вдруг... Забегаю по скрипучей лесенке наверх, в большую комнату и вижу: возле кровати, на которой лежит больная моя сестра, сидит Витя! Мой Витя! Какое-то краткое время пережила я грустную радость, что вернулся мой долгожданный муж, обнялась с ним накоротке, над сестрой склонилась, спрашиваю о самочувствии. А она кивнула на табуретку, мол, посиди, и стала говорить о том, какой хороший человек — мой Витя, вот из Сибири, из такой дали, привез ей брусники, такой вкусной, такой приятной. Она поела немножко и вроде даже полегчало маленько. «Спасибо, Витя, — сказала она, погладив его руку. — Спасибо! Ты на обед? — обратилась она ко мне. Я кивнула. — Ну, тогда идите: у тебя перерыв, Витя с дороги. Идите к себе, а вечером заходите посидеть...» — и отвернулась к заборке, прикрыла глаза.

Петр стоял неподвижно у окна, смотрел на что-то или на кого-то, может, думал, переживал, к разговору прислушивался. Мама передала мне маленького Толика, мол, поддержи, а я молочно из загнеты достану, налью в пузырек и ключ отдам... Толик, сын Калерии, то бессмысленно улыбался ротиком, то зевал и все причмокивал губами, собрав их в трубочку, кряхтел — захотел есть. Я походила с ним по комнате, похлопывая по спине, когда появилась мама с бутылочкой, полной теплого молока, на горлышко которой надета оранжевая, рассосанная уже соска, молча взяла ребенка на руки, глазами показала на стол, где лежал ключ, начала кормить внучка, а мы с Витей отправились домой.

Пока мы не переживали бурной радости встречи, что снова вместе. Когда разогрелась овсяная каша — поели, попили чай с медом, который нам недавно выписали в Горпромсоюзе — отварили талоны на сахар. Я заспешила на работу, не чувствуя, чтоб меня удерживали, посмотрела на Витю с улыбкой, ожидая ответной, он кивнул и стал приглядываться к жилью: подушки на кровати пощупал, в окна поочередно посмотрел, половичок поправил. И все-таки с работы я очень спешила, не шла, летела, даже к нашим не забежала, решила, что поужинаем и вместе сходим. Витя крепко спал, однако заслышав, как скрипнула и притворилась дверь в избу, вскинул голову, утер губы и сел, как бы виновато улыбнулся:

— А я вот «придавил», да так крепко! Не собирался спать, лежал сначала, смотрел, представлял, думал... и не заметил, как уснул.

Витя не спрашивал, как я тут без него, не рассказывал о себе, о родственниках, и от этого я не знала, как мне себя вести, что делать, чем заниматься. И когда он перед небольшим, на ножке, зеркалом начал причесываться, признался, что так давно уже не был в бане... Хорошо бы лишнюю грязь с себя смыть. «Наши баню не топили, не знаешь?» — спросил как бы между прочим.

— А разве обязательно?.. Можно и в городскую. Работает ежедневно, с семи утра до одиннадцати вечера... Давай? Я белье быстренько приготовлю, все соберу, и ты вымоешься — там не выстынет, и мойся хоть сколько, и в парную сходишь, и отмоешь себя, где все моются. Тазов всем хватает, воды горячей и холодной тоже. На сколько духу хватит, столько и будешь тешить свое усталое тело в теплой благодати.

Все положила: новое нижнее белье, носки, рубашку-косоворотку, которую сшили мне в артели как бы по заказу, из черного сатина, с белыми пуговками, и брюки сшили тоже в нашей мастерской, вернее, я из готовых выбрала, не очень дорогие, но славные, темно-синие — подошли бы только. И полотенце, и мыло с мочалкой, и расческу чистую, и носовой платок. Все завернула в «кальку» — от Анатолия еще осталась бумага для копирования, почти целый рулон. Я его прибрала и употребляла в крайних случаях, иногда вместо скатерти, а тут вот тоже к делу. Пакет определила в сетку и отправила супруга в баню. Уж в дверях спросила, есть ли деньги на билет, а может, пострижешься? — парикмахерская там есть тоже.

Долгонько не было моего Вити. Я начистила и поставила варить картошку, думаю, сделаю вареники — муку, три килограмма, недавно получила, тесто приготовила быстро, картошка варится. Сварила десяток и унесла — Калерия, может, поест... Остальные оставила на разделочной доске, прикрыла полотенчиком и воду оставила на плите, чтоб наготове горячая была и быстрее все было готово. Делаю, спешу, верю и не верю, что Витя приехал. Не было дня, чтоб о нем не думала, а думала все с тревогой, все переживала про себя. Маме соврала, что получила два коротеньких письма, что скоро приедет...

Сестра моя бедная к еде даже не притронулась — ей все хуже и хуже делалось. А Толик — милое существо, ел, спал, справлял всякие дела, затихал, когда брали на руки, кряхтел и даже плакал, когда укладывали в зыбку и качали...

Поплакали мы с мамой, подержала я маленько месячного Толика на руках и заспешила домой, заверив сестру, что, может, даже и сегодня еще зайдем вместе с Витей, а сейчас он ушел в баню,

а у меня печка топится. И только я поджила в печке огонь, поставила «на дырку» чугунок — забулькала вода, — явился мой Витя, свежий, хороший, молодой, и усталости на лице как не бывало.

Долго, под разговоры, ужинали, потом я пока прибрала все со стола, он посидел за компанию, и все — дня как не было. Заперла я в сенки и в избу двери, там на деревянную задвижку, в избе — на кованный крючок, задержала подшторники, и, когда улеглась в постель, Витя придвинул меня к себе и сказал вдруг:

— А ты меня сегодня в слезу вогнала!.. — Я в недоумении повернулась к нему. — Открыл я, значит, свою «кабинку» — этот узкий, как в детских садах, шкафчик, разобрал белье, одеваюсь и тут носки увидел! Я же их и в детстве-то никогда не носил... А они — глаженные, аккуратно сложенные, даже подумал: надевать не надевать — больно новые да так сложенные!.. А уж когда носовой платок обнаружил, да тоже глаженный!.. Тут из моего глаза и покатились слезы горячие одна за другой. Засунул голову поглубже в тот ящик, будто ищу чего или достаю, а сам шмыгаю носом да утираю слезы свои непрошенные...

Двадцать третьего марта, перед обедом, Калерия умерла... На двадцать седьмом году от роду, оставив тридцати восьмидневного сыночка. Мы тихо стояли у постели умирающей молодой женщины, и, казалось, она даже слышала наш тихий плач — из-под сомкнутых век еще выкатились несколько слез, а сказать что-то или спросить, видимо, сил у нее на это уже не было.

Мама плакала тихо и мало, часто принимала лекарство, то капала в стакан, как когда-то говаривала, мол, пятнадцать да одну долгонькую, пыталась хлопотать на кухне, но то я, то Клава, пришедшая из Архиповки, наша старшая сестра, то Тася оттесняли маму, велели лежать. Да разве улежишь, когда такое горе? На другой день я шла в клуб металлургов заказывать духовой оркестр для похорон. Был выходной день, весенне-яркий, светлый, красивый. На улице было много людей, и все, может и не все, но большинство весело разговаривало, смеялись. Я чуть сторонилась их и горько недоумевала: чему смеются? Чего это им так весело, когда умерла моя сестра, молодая, красивая, оставила месячного сыночка. Думала про себя, что так вот, от горя, тоже можно умереть. Ведь случалось, особенно на войне, когда кого-то и пули не убивали, а душа его умирала... Боже мой, как все несправедливо в жизни устроено! Когда я подходила к клубу металлургов, мне оставалось миновать небольшой парк, или сквер, и вдруг показалось, как тому поэту из Вологды: «...Как в этот день рыдали в парке липы, раскачиваясь с раннего утра! Мне было жутко! И под эти всхлипы я невзлюбил весенние вет-

ра...» По-моему, с тех именно пор, после смерти моей сестры Калерии, и не люблю весенние ветра. Вообще ветер не люблю.

Вот и еще на одного человека наша большая семья стала меньше. Калерию схоронили, пока пережили только еще самый первый момент горькой утраты, когда не все еще до конца и осозналось, пока боль и тоска глушили мысли о будущем, особенно о маленьком Толике, который пока ничего не понимает, все его любят и жалеют — он и это не воспринимает в полной мере. Ночь после похорон я провела возле мамы. Папа совсем ушел в себя — он и никогда не бывал многословен, а тут замер в себе, редко с первого раза слышал, о чем ему говорили или спрашивали, за стол садился без охоты, как бы по необходимости. То лежал, вздыхал тяжело и редко шевелился, то уходил во двор, устраивался на чурбаке перед дровяником, прихватив износившуюся почти вконец японскую старенькую шубейку на груди, под углом свисающей, пестрой от седины бороды, иногда глядел себе под ноги, иногда тоскливым взглядом провожал проходившие мимо по линии поезда, иногда искал заделье: правил пилы и ножовки, точил топоры, насаживал лопаты. Смотреть и наблюдать за ним было больно и боязно.

Мало кого занимало, как там Петр. Чем занят? Плачет ли, переживает, что вот схоронил молодую свою жену, хотя на кладбище вроде даже пытался упасть в могилу. Этого я не знаю, было так или могло быть. Тася говорила, что Петя разбирает посылки, сбереженные мамой, что-то прикидывает, обдумывает. Тасе собирался сделать предложение, она сказала об этом маме, и мама громко, со слезами и обидой ругала ее и все повторяла: «Чего и придумали?!» Однако младшая сестрица то и дело крутилась возле него, начала покуривать, пока тайно, как бы переживала горе, помогала Петру, утешала его, как могла и умела. Она же рассказала о том, что он был в военкомате, что, когда отведем девятый день, он должен будет ехать в Японию — для него, мол, война пока не кончилась...

Как-то под вечер зашел к нам, посидел, попил с нами чаю, повздыхал, мол, у вас так хорошо, и вообще, вам хорошо. Ни я, ни Витя, как говорится, не очернили, не обелили, с тем и ушел. С тем и уехал. Насчет вещей — трофеев, которые они привезли с собой и посылали посылками, я так и не знаю, куда они делись, когда их не стало. Правда, на Тасе видела то новое платье, какого у нее прежде не было, то костюм... Но она была молода, когда еще норов паче разума. Ее стали часто посылать в командировки по поселкам — от горфо — насчет платежей и отчетности, она ехала туда в хорошей одежде, что из того, что не в гости едет, а по лесным участкам, часто верхом на лошади.

Нас не было дома, когда уезжал Петр. И писем от него за все

время было два или три. Сначала он, возвращаясь из Японии или еще откуда, заезжал на три дня — попроведовать сыночка, которому было уже девять месяцев. Бедная мама укладывала его возле себя, чтоб грелся около нее, молоко держала или в загнетке, чтоб было теплое, или за пазухой. Малый заххекает среди ночи, есть запросит, мама достанет бутылочку из-за пазухи, даст соску в рот — он и затихнет, напьется молочка, струйку пустит, мама, чтобы не подниматься, подсунет под него чего сухонькое, будь то пеленка или ее нижняя юбка, — и опять спят, перемагают ночь старый да малый.

Петр привез гостинец сыну — две банки кабачковой икры да две пачки печенья, прогостил три дня и уехал, сказав, что в Ростове живут его родители и как только мальчик подрастет, он возьмет его к себе и воспитает. Но... хорошо сказка сказывается. Когда мама заболела и Толика мы стали брать к себе, Витя написал ему по-мужски серьезное письмо. И пришел ответ — не письмо, а жалоба на свою несчастную судьбу, на свою плохую жизнь, что болеет, что никто о нем не вспомнит, не то что поможет. И все дело отца с воспитанием сына на этом и закончилось.

Муж мой продолжал работать на станции Чусовая дежурным по вокзалу, я — по-прежнему в местной промышленности. Начали постепенно и трудно налаживать свою жизнь. Мы уже купили Виктору Петровичу бостоновый темно-синий костюм на барахолке — в ту пору много чего продавалось, всякого разного трофейного имущества, особенно одежды и тканей, даже посуды. К первому мая — к дню рождения мужа — я сшила себе платье из бордового шифона, который подарила мне тетя Тася.

Повыше на груди вышила мелким крестиком две полоски и тем еще больше украсила свой наряд. Витя привез с родины сохранившуюся белую рубашку в зеленоватую полоску, мы поделились, принарядились и сфотографировались — на память, уже не на документы, а именно на память. Фотография эта сохранилась уже как редкость, потому что в будущем-то появится много фотографий, а в ту пору это действительно было событием и памятью на всю жизнь. И еще Витя мне сделал самолично подарок и преподнес в канун своего праздника — дня рождения. Нарисовал цветными карандашами летящую птицу, чайку или лебедя, на фоне облаков. В верхнем углу написал: «1-е мая, 1946 год» — и под рисунком, наискосок, зеленым карандашом, оттенив крупные довольно буквы желтым, как бы солнечным цветом, написал: «Машенька моя!» А на обороте чернилами фиолетовыми написал: «Поздравляю тебя от души с самым жизнерадостным, самым прекрасным из всех существующих праздников весны — 1-е Мая!

Будь так же радостна и бодра, как этот чудесный день —

1-е мая 1946 года, всю жизнь цветы, как май, и всю свою будущую жизнь будь так же молода душой, как май! Пусть все твои дни будут прекрасны и не омрачены тоской!

Целую! Виктор»

И еще продолжение, уже в стихах:

Цвети, как май!

Будь вечно юна!

Мечтай и в мыслях вспоминай

Дни прошлые... (души порывы)

Их никогда не забывай!

Люби и будь любима,

Надежду в счастье не теряй!

30.IV.46 г.

И роспись. Неповторимая и, пожалуй, невоспроизводимая. Я думаю: это проба росписи, когда ему понадобится подписывать не только заявления на дрова, на зарплату, но и издательские договоры и многое, многое другое. Впереди же жизнь, да не простая, а творческая — через несколько лет у Виктора Петровича Астафьева выйдет первая книга «До будущей весны», — и это будет начало, и он, набирая силы и опыт, будет создавать новые произведения, будут и будут выходить книги, и не только в Союзе, но и за рубежом.

Пока же до этого далеко, хотя жизнь и не стоит на месте, а я речь завела с того, что представляла из себя та роспись его под праздничным, красивым по форме и содержанию, как говорится, обращением — поздравлением ко мне. Тут я замечу, тоже забегая вперед, что отец Виктора Петровича, Петр Павлович, малограмотный, но горячо желавший выбиться в начальство, для начала пусть хоть какое, подписывая какие-то нужные бумаги и письма свои, тоже так расписывался, что сын его, Виктор Петрович, много раз изумлялся этакому художеству и всякий раз заключал: «Папа! Тебе только на кредитках расписываться! Уж больно ты здорово это изображаешь!..»

Я скоро поняла, что забеременела, дождалась следующего срока и убедилась в этом окончательно. Тут уж было над чем задуматься, но где-то в далеких мыслях, вернувшись с войны, насмотревшись на усталых от войны, от нужды, от полуголодной жизни людей, которые и себе, и другим уже в тягость, для себя решила: я — здоровая женщина, рожу детей, двух, трех — сколько будет, но не столько все-таки, сколько было нас у родителей, сестер и братьев. Подниму их, поставлю на ноги и буду жить лет до шестидесяти, пока буду в силе содержать дом и семью, буду способна обихаживать себя, а дальше уж сама постараюсь не за-

держаться на этом свете, пусть прекрасном и неповторимом, и, понимая, что жизнь у человека единственная, избавало от неизбежной необходимости ближних, чтоб они не возились со мной, старой и немощной, укорачивая свои красивые и радостные дни и годы. Ведь многие, большинство, если не все, переживали трудности и послевоенные лишения, живя надеждой на лучшее, что не всегда так будет и что моим будущим детям будет жить легче и интересней. А сама себя все же много раз в ту пору я ловила на мысли, что пока я живу на белом свете, еще не верю, что умру.

Жили мы с Витей, стойко переживали нужду, радовались малым радостям, не унывали, можно сказать, потому что, к примеру, однажды сходили в кино и у нас на другой день не на что было выкупить хлеб по карточкам. Ничего, пережили и это, почитали перед сном газетки и уснули, а проснулись — молодые, бодрые, только бы не проговориться об этом маме: она-то так никогда бы не поступила... Время не стояло на месте. Дни часто были похожи один на другой. Как встречали мы приближающийся новый, 1947, год — не помню. Наверно, незаметно, буднично. Витя уже перешел работать в артель «Металлист» — там тоже давали хорошую норму на хлеб и, вообще, продовольственные карточки были, по-моему, чуть повесомей, а поскольку эта артель тоже входила в местную промышленность, то иногда случалась какая-нибудь, пусть и незначительная, но помощь. Выписали однажды старого железа и гвоздей — крыша сильно протекала, там же припаяли новое дно к проносившейся кастроле, и она нам долго служила верой и правдой, да мало ли...

В декретный отпуск я вышла с опозданием, все не выписывали больничный, все как бы у них, в женской консультации, не совпадали сроки с моими. Отгуляла я восемь дней. За это время самолично выстежила детское одеяло: ваты выписали в «Швейнике», а сатину по три метра на карточку выкупила в магазине. Маленького белого лоскута дали в цехе массового пошива. Одним словом, я изготавилась к появлению первенца и одиннадцатого марта тысяча девятьсот сорок седьмого года благополучно разрешилась дочкой, названной по настоянию отца Лидочкой.

Недолго прожила наша доченька на белом свете, умерла от диспепсии, только-только достигнув, даже маленько не дожив до полугодика. Зима была холодная, весна тоже выдалась ненастная в тот год, а я же и зимой и летом — все одним цветом, все в шинели своей неизменной, хотя как неизменной — выносилась она от постоянного ею пользования. Я застудила груди, мастит не проходил сам собой, хотя и грелась, и мазями пользовалась — не помогало, пришлось оперироваться, и мы с дочкой двадцать четвертого августа угодили в больницу. А вскоре после того, как появилась на свет наша первая дочка, Виктор Петрович, не знаю зачем, вы-

звал из Сибири свою неродную бабушку, Марию Егоровну Астафьеву — мачеху отца Виктора Петровича, но довольно еще молодую — лет пятидесяти. И приехала она, Мария Егоровна, чистоплотная, своенравная, любила, чтоб за нею ухаживали, сама же в домашних делах не усердствовала и только, странное дело, теперь уж давно и прошлое, но все чего-то постанывала, куталась в шаль и все следила — подглядывала, как и что я делаю, как содержу Витю, и при всем при этом, если наблюдала, что Витя ко мне хорошо, даже иногда ласково относится, прекращала разговаривать со мной вообще и вдруг заискивала перед Витей. А я ей только ноги не мыла. И все не так, все не по ее. Главная же причина в том была — наша бедность, как я потом поняла.

Однажды оставила на женщин-матерей, у которых тоже болели дети, свою Лидочку, несколько раз умоляла их, чтоб хоть которая, хоть маленько дала ей поесть, чтоб хоть немножко грудного молочка она поела... Но нет. У всех отощавших матерей молочка не лишка. Витя дважды приносил в больницу самодельные конфеты, купленные на базаре, и когда их опустишь в молоко, то оно делалось либо голубым, либо розовым — в зависимости от цвета тех конфет. С них и началась эта жестокая диспепсия у девочки — в больнице их запретили ей давать. Утром на обходе врач, прежде чем осмотреть ребенка, напоминала, что нужно сдать хлебные и продовольственные карточки, иначе выпишут... А на работе меня заменяла женщина «с воли», которая только ради карточек и устроилась временно на работу... Однажды Виктор Петрович в мазутной одежде, сам чумазый, явился в горком партии и напрямик к секретарю. Тот поначалу возмутился: почему без разрешения вошли? Почему в таком виде? А Витя, устремив прямо на него свой единственный зрячий глаз, приблизился к столу и спросил:

— Моя жена, добровольно уходившая на войну пятой из семьи... она — член партии!.. Она заслужила у своей партии двести граммов хлеба в сутки? Ее грозятся выписать из больницы с больным ребенком на руках только потому, что она не может сдать хлебную карточку, которую получает другой человек, ее заменяющий на работе! Заслужила или нет? — я спрашиваю...

Тот начал было пояснять, мол, если жена — член партии, то должна понимать трудность момента в жизни страны и тут только заметил, как муж уже сжимает побелевшими пальцами тяжелую, мраморную чернильницу...

— Вы присаживайтесь. Вы поймите... Мы постараемся что-нибудь придумать для вашей жены.

Виктор Петрович саданул дверью кабинета секретаря, явился в цех в таком состоянии и виде, что рабочие начали отпαιвать его водой, успокаивать, проклиная начальство...

На другой день я неожиданно пришла домой — вымыть голову да узнать, может, удалось на рынке купить сахарку?.. В этот раз со мной не разговаривали уж ни тот, ни другая. Я молча налила теплого чаю, попила и увидела, что даже в зыбке вся постелька перевернута вверх дном. Прямо как в стихотворении про жаворонка: «Гнездо вверх дном, птенцы запаханы!.. Вспорхнул и канул в небосвод. Надрывно охает и ахает, а люди думают — поет!»

Так и я... Ничего не спросив, ничего не сказав, отправилась обратно в больницу, к беззащитной, бесконечно дорогой и жестоко страдающей дочке. Лежит она на кровати и все пытается угадать соской, снятой с бутылки, в голодный ротик... Взяла ее на руки, потеревла свои пустые груди и, крепко прижав ее к себе, стала ходить по палате, поднесла к широко разросшемуся цветку с зелеными листочками, она даже ручку поднимает, дотянуться пытается, но силы, даже самой малой, в ней уже не осталось от истощения... Будь бы у меня чего предложить женщинам-матерям, чтоб они, хоть которая-то, покормили бы девочку, один только разик в день, один-единственный, но мне нечем было с ними рассчитаться за несколько глоточков молока и тем поджизнить жизнь в девочке, а может, и продлить...

Лидочка умерла уже ближе к ночи второго сентября тысяча девятьсот сорок седьмого года... Витя увидел — видно, стоял перед окном палаты, — как я уронила голову на постель и еще чувствовала обнявшими руками, слабенькое, остатное ее тепло... Сестра сходила за дежурным врачом, та приоткрыла уже завянувшие веки ребенка, посмотрела на ноготки, быстро, прямо на глазах начавшие темнеть, ненадолго приложила к груди Лидочки вытащенную из кармана халата трубку-стетоскоп, послушала, выпрямилась, мгновение еще посмотрела на мертвую девочку и молвила: «Сочувствую... Через два часа можете брать домой... или переправим в морг...» — и ушла.

Когда Витя нес уже неживую дочку по ночному городу, еще чувствовал, говорит, тепло, устоявшееся под шейкой... А в избушке по радио, из привычной в те времена черной тарелки-репродуктора доносилась какая-то печальная музыка... Мария Егоровна тут же засобиралась к нашим, мол, че мне теперь тут делать? Мешать только...

На другой день Витя с Васей, моим братом, отправились копать могилку и по пути должны были зайти к моему дяде, Сергею Андреевичу, грамотному человеку и хорошему столыру, чтоб к вечеру сколотил гробик. Я то плакала, то только вздыхала и шила платице, чтоб одеть в него Лидочку и в нем отпустить от себя родное дитя в мир иной, шила капорок, отделив оборочки кружевцем, на подушку-думку, из ее же зыбки, надела новенькую наволочку, сшитую из ненадеванного головного

платка. Витя сходил и показал в магазине свидетельство о смерти дочки, ему продали белого полотна, синего сатина — обить гробик, маленькие, самые маленькие пинетки, больше похожие на носочки, и еще дали десять метров голубой неширокой ленты. Сергей Андреевич довольно скоро изготовил гробик и уже у нас дома обил его сатином, и стружки сохранил, мол, вместо подстилки, матрасика — всегда так делают, и принес два новых вафельных полотенца. Я успела сделать несколько цветочков-розочек из тонкой курительной бумаги, вырезала из тетрадной корочки листочки, папа нашел где-то у себя медную проволоку, я соединила цветочки и надела на головушку Лидочки, поверх капорочка как венок.

Азарий узнал о нашем горе, убедился, что все уже почти готово, сходил за фотографом. Гуссис — по фамилии, они оба, муж и жена, занимались фотографией, ходили по заказу по домам. Лидочку тоже сфотографировали и до сих пор невозможно без горьких чувств смотреть на ту фотографию, на дочку, перед которой мы уж столько лет, сколько прошло со дня ее смерти, так и живем с виной в сердце, что не уберегли... не спасли, уморили голодом...

Какое это горькое горе и чувство — родительское бессилие, тяжелое, жестокое, совершенно немилосердное. Мой младший брат, добрый и уже несчастный, часто летними днями держал, бывало, Лидочку, свою племянницу, на руках. Усядется с нею на крыльце, в тень, похлопывая одной рукой, а другою листает страницу за страницей — читает. Он очень много читал, иной раз спросишь, чего он читает? А он виновато, скорее застенчиво, улыбнется и то скажет название книги, то покажет обложку и тут же успокоит, мол, за нее не беспокойся, я же с нею не только сижу, мы и погуляем — шаги меряем от угла до угла дома, или по бороздам, меж зеленой ботвы моркови, к тополям вон ходим. Ты не беспокойся. Она у вас такая тихая, спокойная. Мне нисколько с ней не трудно...

Когда Лидочка умерла, Вася чаще стал жаловаться на головную боль. У него, когда он работал на строительстве дома в Новом городе — штукатурил, красил, — однажды голова закружилась, он упал с лесов, долго был без сознания. А потом врачи осмотрели, признали сотрясение головного мозга, мол, нужен покой, обязательно нужно больше лежать, отдыхать, а в больницу не обязательно его класть, можно и дома, только очень следить нужно, чтоб не нервничал, ничего не делал в наклон — больше, как можно больше покоя. А книги пусть читает, раз грамотный, раз нравится, может, и на поправку пойдет быстрее.

Я начну, бывало, прибираться в своей избушке и то погрешушку найду — приносили знакомые, часто заходили с работы

попроведать, то ложечку чайную, из других выделяющуюся, подаренную кем-то, мол, на зубок — сяду на кровать перед зыбкой, сижу, плачу, иногда подолгу засиживаться стала. И сниться Лидочка стала почти каждую ночь: так явственно увижу, как она, такая маленькая, такая беленькая, безгласная и спокойная, как взрослая, перейдет через линию и спускается к нашему дому — веночек на голове, платьице длинное белое и явится перед окном с глазами, полными слез. Я соскочу с постели, кинусь к окну, а ее уж нет, она уж у другого окна стоит, молчаливая, не по-детски скорбная. Я к другому окну, но и там уже нет, а сама думаю: как же ей холодно, одиноко, а я в дом погреться не могу ее пустить — никак дверь найти не могу. Лежу, умываясь слезами, то задремлю, то заплачу.

Витя смотрел, смотрел на меня и взял отпуск, и стали мы с ним да с Васей, иногда и Мария Егоровна с нами, ходить по грибы. Витя с Васей идут впереди и все разговаривают, разговаривают. Витя потом не раз и с удивлением рассказывал, мол, я думал, Вася листает книгу за книгой, просто так, без понимания и интереса, а пока шли, разговорились, и оказалось, он очень внимательно и вдумчиво читает, и рассказывает интересно. Ему бы куда-то учиться. Ну, наладится с головой, тогда надо подумать, может, для начала хоть в вечернюю школу рабочей молодежи.

Не прошло и недели с того разговора о Васе, Витя на телеге привез глину: надо печь перекладывать — сложена она была на деревянный сруб, когда-то, видать, посильнее раскочегарили печку, и зашаял тот деревянный сруб. Стали топить печь с осторожностью, чтоб пожар не наделать, да заготавливать постепенно кирпич, песок, глину, чтоб артельно взяться да и управиться с работой за день-два, сложить поменьше да понадежней... И жить-поживать дальше.

Когда Лидочку схоронили, враз вроде дел меньше сделалось, вот и решили заняться печкой. Мы с Васей — иногда и Азарий помогал — чистили кирпичи, привезенные с углежжения, сразу сортировали целые по одну сторону дверей в сенки, половинки — по другую. И вот Витя глину привез. Стоял на телеге, посреди двора, напротив проема на сеновал, куда сено на зиму метали. Я подросла да Зоря, и сам Витя спрыгнул с телеги, папа притащил из дровяника широкое деревянное корыто с ручками, как носилки с бортами, принес и старое железное корыто, уже заржавевшее, — в него можно воду наливать да кирпич мочить. Сгрузили быстро, и Витя уехал на телеге, погоняя коня, чтоб лошадь сдать ко времени, а там и конец рабочего дня.

И только мы поужинали, я взялась посуду убирать со стола, Витя потянулся за печной выступ за спичками, чтоб закурить, и в этот момент сильно забили, забарабанили в дверь в сенки.

Витя проворчал, мол, ровно на пожар, и пошел отпираться дверь. В проеме дверей стоял папа и, подрагивая плечами, шарясь крупными пальцами по рубашке на груди, болезненно сморщив лицо, сдерживая слезы, сказал:

— Марей! Витя! Вася-то наш повесился!.. — и, шатаясь, пошел домой.

Еще днем, когда я бежала домой на обеденный перерыв, увидела в огороде маму — свеклу она начала вырезать. Увидев меня, она громко выкрикнула, что Васи-то нигде нету! Дома не ночевал... — и так рванула на себе старенькую жакетку, что пуговицы брызнули в разные стороны. Я подбежала к ней, глажу, успокаиваю, обещаю, что с работы попытаюсь дозвониться до Нового города, до стройуправления, узнаю — не случилось ли чего? Или после работы сама съезжу, узнаю. Мало ли... может, в кино с ребятами ходили там, домой поздно не стал возвращаться — далеко же. Может, вот-вот придет. Не переживай, успокойся. Поди, полежи, а сама чего-то перехватила на ходу и снова на работу...

Мы, вообще-то, с Витей уже приспособились: картошку начистим с вечера, а в обед или с работы кто раньше придет, тот и печку топит, и чай кипятит, или суп, загодя сваренный, разогреет, или картошку варить поставит, часто и в мундирах. Об этих мундирах еще пойдет речь впереди, но пока не о том, совсем не о том, пока о чем-то таком, что неотвратимо и страшно надвигалось на нас, на всю нашу родню, от чего не скрыться, не откредститься — оно неизбежно.

И вот оно... Снова тяжелое горе свалилось на нашу семью. Мама, как потом мы узнали, пошла вечером, не дождавшись еще нас с работы, доить корову, а утрами еще выгоняли коров пастись, чтоб пока можно, где отавы поедят, где трава не перестояла, а зима впереди длинная, корму много понадобится. Подоила она корову, поставила к порогу подойницу с молоком, перекрестила животину на ночь и только приподнялась, встала на кромку ясель — угла, отгороженного специально для сена, собралась стащить охапку сена, а сеновал по основанию как бы оттораживали два ряда бревен, может, для того, чтобы корова не пялилась по стене да не стаскивала щипками сено, которое съест, которое истопчет, может, из каких других соображений, но когда мама приподнялась и хотела взяться за сено, чтоб спустить его прямо в ясли, увидела своего младшего сына Васю — стоит, голову чуть набок наклонил, а не видно же из-за бревен, что ноги его пола не касаются. И на веревку, которая стянула ему горло, — тоже никакого пока внимания. Да ведь и Витя, когда днем глину привозил — стоял на телеге вровень с проемом, когда весь сеновал можно осмотреть, — он тоже головы в ту сторону не повернул.

— Вася! Сынок! Ты чего же тут стоишь-то? Мы с ног сбились, ищем тебя, где взять, не знаем, у кого ни спросим — никто не видел. А ты вон где! Ты же на сеновале-то делаешь? Один!.. Стоишь как вкопанный... — Поднялась на цыпочки и увидела, что Вася-то не стоит, а висит. Она как закричала, упала с яслей, ведро уронила, а через высокий порог конюшни никак выбраться не может.

Ладно, папа был во дворе, услышал ее крик, сорванный от горя, поднял ее, увел в избу и нам вот постучал. Его бы снять, освободить от веревки, — размышлял как бы сам с собой папа, но тут уж люди обступили — откуда и набрались? Милицию, говорят, вызывать надо да врача, а пока не трогать.

Вася, видимо, всю ночь тут, на сеновале, провел, в дальнем углу сено примято, даже не примято, а как бы слежалось, сделалась вмятина, как маленькая берлога. Васю сняли, положили на старое узкое дверное полотно от предбанника, врач оглядела след от веревки, глубоко врезавшийся в полудетскую еще шею, руки, ноги целы, невредимы, высунувшийся синий и большой язык затолкали на место, через силу раздвинув челюсти. Сложили руки на груди, отошли. Тут приступил к осмотру милиционер: вывернул карманы — в них нет ничего, даже табачных крошек, чему очень удивился; в снятых ботинках тоже ничего не было, на ногах носки, уже малые для его ноги, потому пятки носков приходились почти на середину ступни, глаза плотно зажмурены, а густые прямые волосы рассыпались по сторонам, образуя прямой пробор, заострившийся нос, темные губы полуоткрыты... а так как живой или сознание потерявший.

Боже мой, что было с родителями и вообще в доме. Сергей Андреевич пришел быстро, может, Тася позвонила ему на работу, погоревал, посидел с сестрой — моей мамой, почерневшей и безмолвной, покурил с папой в ограде и начал подбирать доски для гроба. Папа ему как-то совсем отрешенно показывал, где новые, где не очень, но ровные. Азарий с дядей, Сергеем Андреевичем, вытащили из дровяника старый верстак — в дровянике тесно, неудобно с длинными досками возиться. Пока мы с Тасей обивали гроб изнутри, пока шили наволочку, готовили полотенца.

К вечеру Вася уже лежал в аккуратном, по нему — не шире, не длиннее — сделанном гробу. Азарий сходил к соседям, у которых много росло рябины, и она украшала палисадник и даже межи в огороде, с разрешения наломал самые красивые и яркие веточки и ими, теми осенними яркими кисточками, обложили Васю по кромкам домовины. Нельзя сказать, что они очень уж пришили кстати, но сам Вася лежал среди них как живой, воротничок рубашки прикрывал запавший синий рубец, рот чуть полуоткрыт, руки покоились на бездыханной гру-

ди. И все казалось, и не только мне, что Вася полежит, подремлет да и поднимется, сядет, оглядит с удивлением и недоумением все, что вокруг, задумается ненадолго и, ухватившись молодыми, крепкими руками за борта гроба, легко, как гимнаст, закинет вытянутые ноги в легких новых тапочках, выпрыгнет как бы, чуть присядет на полусогнутых ногах, выпрямится, улыбнется и скажет что-нибудь вроде: «Ну и хватит! Представление окончилось. Можно всем кому куда...»

Время шло, а Вася, как его уложили, так и лежал, покорно, успокоенно, обреченно. Хоронили его ранним утром, до церковного колокольного звона... Несли гроб не по улице Ленина, а по некрутому подъему поднялись на линию, осторожно ступая, медленно вышли на Транспортную улицу и по переулку, по которому гоняли стадо, по которому катались на санках, пошли в гору.

В гору поднимались медленно, то и дело подменяя один другого, перекаладывая конец полотенца на подставленное плечо... И не было толпы провожающих, лишь кучкой соседи и знакомые, узнавшие о нашем семейном горе, шли за гробом, и все время кто-нибудь да поддерживал маму под руки. Она не плакала, не причитала, не била руками свою изболевшую уже до дна грудь и только как заведенная все тихо говорила-повторяла: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!..» — так до самого кладбища и шептала иссиня-черными тоненькими губами. Когда гроб с телом Васи опустили в могилу, в ту же, где уже покоилась сестра его Калерия, — подкопали осторожно сбоку — мама впала в забытие, силы ее кончились, и тогда соседи — дядя Володя Комилин и дядя Петя Курков осторожно подхватили маму, исхудавшую, истрадавшуюся, усадили на низенькую табуретку, кем-то подставленную и так, полусидя, полупонимая, что происходит, вернее, что уже произошло, что все кончилось, она безвольно разжала руку, и высыпалась из нее горсточка земли на крышку гроба.

Бедная Клава рыдала надрывно, то сжимая голову руками, то расклевываясь из стороны в сторону, и все спрашивала:

— Господи! За что столько горя на нашу семью? За что такое жестокое наказание? В чем мы уж так провинились?.. Ну за что?..

Клава плакала громче всех, и ее насильно отдалили от свежей могилы. Мужики уже вбивали колышки, размечая ограду, советовались: кто краской расстарается, кто оградку заказывать будет. Сергей Андреевич спокойно сказал, что оградку закажет через свою организацию — Вторчермет — сделают быстро и аккуратно. Поставим пока деревянный крест, сам на днях сделаю, вон как у Лидочки, только побольше, веночки которые обновит... Помолчал, поправляя очки, оглядел кругом: не забыли ли лопаты, полотенца?.. У самой могилы неожиданно появилась Конюшиха,

расстелила белую салфетку, на нее бутылку с самогонкой поставила, стопки как наперстки, огурец разрезала, колбаски, пряников положила и, перекрестившись, первая налила себе маленькую выпивку, приняла, утерла губы ладонью и поклонилась: «Царство небесное всем вам, Калерии, младенцу Лидии, новопреставленному Василию... Царство небесное...» И уступила место другим. Выпили помаленечку, помянули и начали расходиться.

Мама тихо, без слез, уставшая уже целовать мертвые губы, безропотно принимала лекарства, запивала теплым чаем. Хотела посидеть за скудным поминальным столом, да передумала, сказала виновато:

— Я пока не могу. Мне полежать надо. Лекарство вот попою... А за стол после... отдышусь, отлежусь, соглашусь с бедой. Сколько теперь нас осталось-то? Пятеро... Да мы с отцом... Сергей, Тоня сказывала, скоро приедет, ходит уж, ест, пьет, читает, по дому тоскует. Не помню, сообщили ему о Кале-то или нет? Ну да теперь и ее уж не вернешь. И Васю... О-о-ох! Много, видать, я тяжких грехов за жизнь-то сотворила, сама того не ведая... Вася бедный, то ли от болезни, то ли от предчувствий каких, случилось ли чего, да мы не знали, а он вот руки на себя наложил. Господь и за это наказывает: всех поминать станем, как и поминали, и Толю, и Валу, и Калерию, и всех убитых на поле брани, а Васю... А Васю только раз в году в церковный поминальник записывать можно. Про себя-то буду молиться, просить Господа, чтобы помиловал, чтоб простил прегрешения вольные и невольные. Все равно уж в грехах утонула... Ох ты, Вася, Вася!..

Вася умер, когда не прошло еще и двадцати дней после смерти нашей Лидочки — плохая, говорят, примета, да куда от нее денешься, разве возможно чего-то изменить.

Мария Егоровна вовсе от домашних дел отошла и стала поговаривать, мол, ехать надо домой, че мне тут людей объедать? Вите последнее время стали все чаще приходить письма. Все письма, какие приходили, а нам и писали: крестная, тетя Тася да несколько девчонок из части. Вите приходили письма из Краснодара. Мое до предела страдающее сердце не предвещало, конечно, для меня ничего хорошего, связанного с этими письмами. Но у нас было негласно решено, что письма, адресованные Вите, — его письма, он их вскрывал, читал. Письма, адресованные мне, никаких тайн и секретов не имели, тем более, что всех, от кого приходили письма, Витя хорошо знал, и по прочтении мы иногда разговаривали, вспоминали Станиславчик. Краснодарских писем Витя мне не читал, ничего о них не говорил, только убирал куда подальше, а может, уничтожал — не знаю. Я ничего не предпринимала, чтоб мне узнать о их содержании, отчасти потому, что за войну я, работая в военной цен-

зуре, не по своей воле, не любопытства ради, столько прочтала чужих писем, разных, ласковых, доверительных и, наоборот, гневных, с угрозою, со злом, с укоризною, всяких...

Наблюдаю, как Мария Егоровна выжидает момент, чтоб подсобить свое добро, на которое я, увы, никаких видов не имела, да к тому жизнь вынуждала жить в таком напряжении, в горе, когда одно не успеешь пережить, не успеешь опомниться, на очереди, а то и вне очереди, можно сказать, подкарауливало другое, и так жестоко, до неправдоподобности жестоко, казалось иногда, что больнее и ушибить уж нельзя, тем более кем-то из близких, так нет же. На современном языке сказали бы: иглоукальвание — всегда в самую больную точку...

Мария Егоровна для начала стала жаловаться маме — нашла кому! — что вот вовсе, мол, болеть начинаю, надо ехать обратно — кому я тут хвораю-то нужна? Да и робенка не стало, дел особых нет, мол, только мешаю да объедаю... Мама раз или два мне об этом сказала, и я ей, даже маме своей, вовсе без вины виноватой, ответила с резкостью, что Мария Егоровна сама не маленькая и не очень стара, чтоб поехать до Красноярска одной. А то, что она все стоваривает «Вихтора», чтоб проводил, — у него своя голова на плечах, и, если семья его ему в тягость — скорей умру от горя, чем умолять примусь остаться либо возвращаться поскорей домой. Когда Мария Егоровна притворно стала утирать сухие глаза кончиком головного платка, мол, Маруся, я ведь хвораю, только терплю, ничего не сказываю, но мне во что бы то ни стало надо ехать домой, в Красноярск, и надо, чтобы Вихтор меня проводил до места, одной мне уж и не доехать, я спросила:

— А Вихтору вы об этом уже сказали?

— А как же? Да он и сам не маленький, видит... да и отказать мне как он может? Когда беспризорничал, сколь я его обстирывала, обмывала да кормила... Последним делилась.

— Я беременна! И не от прохожего молодца, а от мужа, от Вихтора, как вы его называете... Дело ваше — сговорились — уезжайте, я... а мы... как-нибудь. Я завтра на выходной уеду в Лысьву, вот вы без меня и решайте. Одна поедете — дорога скажет, а с Вихтором — ему не понадобится выдумывать причину. Вон их, писем-то, пачку уж получил, значит, ждут. Мне бы на прощанье поблагодарить вас надо за помощь... да я не припомню, в чем она заключалась?! А те письма, оба, — верните мне сейчас же, найдите, куда дели! Я же не спрашиваю, за чем рылись в детской постельке? Не пеленки же стирать брали... Все вверх дном. Чтоб сегодня же были они под клеенкой на кухне, и для вас же будет лучше, если сделаете это, пока Виктора дома нет... Иначе будет плохо не мне одной!.. — Я все-таки не сдержалась, расплакалась, но, закусив губы, поспешно оделась,

обулась, умылась, в зеркальце заглянула, взяла из-под скатерочки на угольнике половину имевшихся в доме денег и ушла.

Походила по-за огородом по улице, чтоб не маячить на глазах у людей, затем, когда лицо пообдуло, слезы высохли, зашла к маме. Папа, сказала она, пошел в городскую баню — попариться, говорит, охота, а баню топить для двоих — лишняя работа, да недавно и мылись. Я сказала, что собралась съездить на выходной в Лысьву, к Серафиме Андреевне — плохо ее во сне вижу да и соскучилась, и отвлеклась маленько. Когда я покупала билет в кассе на вокзале, подала деньги и попросила билет до Лысьвы, кассирша Люда чуть из окна не вылезла — так разглядывала меня — она знала и то, что я жена Виктора Астафьева, знала, конечно же, и о том, что в семье нашей молодой не все ладится, и знала, что я сегодня поеду, а потом уже, когда я сидела в вагоне у окна, не ожидая — когда тронется поезд, — по вагону прошел мой Витя, чуть задержался на мне взглядом и пошел дальше. Я не оглянулась, только встретилась взглядом с ним, а он, видимо, хотел удостовериться, что я действительно уезжаю и у них есть время, чтоб все решить и действовать...

Крестная моя, Серафима Андреевна, встревожилась моим приездом в такой поздний час. Я сказала, что ближний поезд ушел на Кормовище через Лысьву, с ним и приехала.

Долго, пожалуй, что до самого утра, до той самой поры, когда мне уже надо будет пойти в церковь, исповедаться, причаститься — усердно помолиться перед иконой «Тайная вечеря», мы проговорили. Я рассказала о том, как оставила больную Лидочку под присмотром женщин, у которых болели дети, и они с ними делили страдания, пытались сохранить в себе надежды на выздоровление ребенка уже много-много дней и ночей. Дома со мной ни Витя, ни Мария Егоровна не разговаривали, будто воды в рот набрали. Когда пришла домой вымыть голову, на плите обычного чугунка с водой не было, самовар еле живой, я попила теплого чаю, вернее, теплой воды, и с тем ушла обратно, к больной дочке, к самой родной и милой на свете душе.

Когда я увидела переворошенную детскую постельку в избыке, прежде ужаснулась, чем поняла, что все это могло значить. А значить это могло единственное — два письма. Первое от Вани Гергеля, Витиноного однополчанина и друга, которому я после долгих и нелегких раздумий написала письма.

Второе письмо было от Володи, Владимира Васильевича Корзунина — хирурга из госпиталя. Он был молод, самостоятелен, весел, справедлив, требователен и добр, мы были симпатичны друг другу. Владимир Васильевич, вскоре за мной, тоже ушел из госпиталя добровольцем на войну — подбирали специальные медицинские подразделения. Он и на фронте оставался хирургом, в

полевых условиях, иногда вовсе не подходящих для такой работы, оперировал раненых. Я получила от него два письма, когда еще мы были на Северо-Западном фронте, предлагал мне перевестись в его часть, дел, мол, хватит, трудностей тоже, что был бы очень рад... «Ты ж с полуслова могла понять: что, где, как записать, чтоб коротко и ясно, и с перевязками помочь, и вообще... были бы вместе. Я ж тебе тогда еще, когда ты уезжала из госпиталя, говорил, что разыщу тебя непременно, где бы, в какой части ты ни была!.. Я уже награжден — можешь погордиться за меня и даже поздравить — две «звездочки»! Заслужил! И не за просто так!» Он всегда с юмором, со смешком. В госпитале, бывало, начну разносить истории болезни раненых по отделениям, к врачам. Кабинет Владимира Васильевича располагался в верхнем правом конце коридора. Я приноворивалась заходить к нему к первому: выходила из своей канцелярии, она почти под его кабинетом располагалась, только на первом этаже. Я легко и беззаботно, бывало, спешу на четвертый этаж в кабинет к Владимиру Васильевичу, стукну в дверь разок и, не дожидаясь «войдите», открою дверь и к столу, за которым сидит веселый, пока еще не уставший за день, пока утро — молодой, белозубый хирург, увидит меня, и залучатся радостно его серые глаза, обойдет стол, возьмет из рук моих истории болезни, положит как бы себе за спину на стол и неожиданно, быстро и как-то радостно прижмет меня к себе, поцелует, заглянет в смущенное мое лицо, на мгновение притиснет мою голову к своей груди и выпустит, и скажет: «Ну, ступай! Тебя ждут и в других отделениях, и начальница, и скоро десятиминутка начнется — не опаздывай! Кто ж без тебя ее начнет?!» — опять же с улыбкой, но вроде и серьезно добавит Владимир Васильевич.

Иногда вечером Владимир Васильевич, если дежурил, то заходил в бывший спортивный зал, где шли танцы или показывали кино, задерживался ненадолго. И мы хоть взглядом да обменяемся с ним непременно. В том письме, которое я получила дома, когда Виктор Петрович путешествовал с кем-то и куда-то по родной Сибири, он сожалел, что отказалась переводиться к нему в часть, сама не знаю, почему отказалась. Может, боялась отстать от девочек, с которыми мы уж сдружились, сработались, а там... кто знает, что ждет там? Вдруг Владимир Васильевич потом что-нибудь передумает, или его переведут куда в другое место? Вместе было бы, писал он, и легче и надежнее, наконец, земляки же, и, кроме того, я тебя, Машенька, по-прежнему люблю, часто о тебе думаю-вспоминаю и не исключено, что однажды нагряну, заберу тебя... Я подробно, как на духу, рассказывала своей крестной обо всем, что переживала в то время, и о письмах тоже рассказывала, со всеми подробностями, даже о том, как я их, эти два заветных письма, прятала-перепрятывала.

Порвать, сечь не решалась — слишком они были для меня необычны и дороги, — и я их то в подушку зашью, то в карман старого фартука положу, прихватив карман булавкой, небрежно бросала его в угол, к умывальнику — кто может догадаться? И к маме несколько раз приносила, чтоб отдать на хранение, но не отдавала, передумав в последний момент, уносила обратно и опять, особенно перед сном, уже лежа в кровати, оглядывала избушку, искала укромное место, снова прятала, а потом с трудом находила. Долго все это продолжалось и вот чем кончилось.

Никаких моих писем, сказала обиженно Мария Егоровна, она сроду и не видывала, и вообще, зачем добрым людям чего-то утаивать друг от дружки?..

Утром, еще совсем рано, Серафима Андреевна осторожно дотронулась до моей головы, погладила и тихо молвила:

— Милечка! Если не передумала насчет церкви, то надо собираться: пока дойдешь, пока местечко себе выберешь, икону Тайной вечери найдешь, свечи поставишь... Когда вернешься, тогда и чай пить будем, а пока, перед исповеданием не полагается... Иди с Богом! Дорогу-то помнишь ведь? — спросила она, прикрывая за мной дверь...

Я затеплила свечу и долго молилась на икону, то стоя на коленях, то с поникшей головой. Шептать, произносить тихо, для себя, молитвы у меня не получалось, душили слезы, и я, сипя сдерживаемыми слезами, творила молитвы про себя и безутешно плакала. Когда священник пригласил желающих исповедоваться, я была к нему близко и потому исповедовалась почти первая. Батюшка, покрыв мою голову бархатной с кистями лентой, спрашивал: в чем грешна? Вопросы он задавал разные, житейские, из людской обыкновенной жизни, и я вторила одно и то же: «Грешна, батюшка...» Затем причастилась, еще недолго постояла перед главной, как мне тогда показалось, иконой, про себя, мысленно каялась в делах не совсем праведных: вот квартирантов почти силой выставила из флигеля, но нам совершенно негде было жить — тут же как бы и оправдала себя; что году еще не прошло, как схоронили дочку-младенца — заморили голодом. И снова собралась было оправдаться, мол, грудь болела, что карточку не давали, и тут же остепенила себя: я же не оправдания жду, а помилования, чтоб отпустил мне Господь грехи мои, вольные и невольные, снова молилась, снова плакала. И, когда слышала приглушенные шаги — верующие начали тихо расходиться после утренней службы, — вышла из храма, посидела недолго на лавочке под тополями, перекрестилась, когда вышла из церковной ограды, на икону образа Господня, которая висела высоко над воротами, глубоко вздохнула и пошла в сторону парка, на Цветочную улицу, где в доме номер 22 жи-

ли мои крестный и крестная, а на двери блестела медная табличка «Алексей Ефимович Ходырев».

Такое умиротворение в моей душе было, такая просветленность, и крестная, наблюдая за мной, это почувствовала, порадовалась за меня и сказала:

— Милечка! И впредь, в будущем, когда тебе сделается очень плохо, до сердечной тоски, не ходи ни к каким гадалкам, ворожеем, колдуньям ли, ко всем этим подвидным и нехорошим людям: они не помогут никогда ни в чем, сходи в церковь, помолись усердно — и Господь услышит. Обязательно услышит.

Крестная нажарила вкусных пирожков с капустой, поставила кувшин с холодным молоком, чай заварила, на столе варенье, сахар, калачики. Мы еще немного поговорили, и она предложила: сегодня, пока в душе моей светлость и спокойствие, мне лучше поехать домой. Я не гоню, места у нас, сама знаешь, всегда всем хватало, тебе особенно, мы всегда тебе рады, но вот сегодня, после утренней службы, — ты молодец, что выстояла ее, покалась, поисповедовалась, причастилась — и, даст Бог, все будет хорошо, пусть не сегодня, не сразу, но будет. Ты же так усердно сегодня молилась.

— Вот тебе, Милечка, мои любимые туфельки. Они, видишь, почти новенькие, светлые, с ремешком, на каблучке — до самой поры, когда рожать надо будет, в них ходить станешь, ноге в них легко, удобно. И вот пальто, смотри, какое славное. Я его давно уж не надевала, а тебе оно очень подходит, как для тебя и шито. Вот еще чулочки новенькие, ночная рубашечка — бери. Это так тебе необходимо, а мне с возрастом, чем дальше, тем все меньше уже требуется. Да и есть у меня все, ты же знаешь: шила всегда все сама, и себе, и маме-покойнице...

Крестная доложила мне еще ком замороженного пельменного теста, мол, вдруг Витя еще не уехал, или себе поесть чего-то такого захочется, вот и состряпашь пельмешков ли с капустой, вареников ли с картошкой... Пока ехала из Лысьвы до станции Чусовской — ни о чем не думала, в окна не смотрела, сердце дурными тревожными мыслями не надсажала: ехала и ехала, будто спала с открытыми глазами. Однако когда приблизилась к дому, сердце сжалось, помедлила немного, посмотрев по сторонам: ни во дворе, ни на улице людей не видно. Просунула палец в круглое, уже как бы отполированное отверстие, подвигала задвижку — и дверь в сенки тихо отворилась. Когда глаза привыкли к полумраку, различила в скобе двери в избу белую бумагу, и опять мое сердце сжалось. Нашарила над дверью, вернее на полке, концом примыкавшей к косяку двери, ключ, покусав губы, вставила его в замочную скважину, открыла, вошла. В избе было тепло и чисто. И только. Никого и ничего больше...

Пережила мучительные первые минуты одиночества, разделась, разулась, вымыла с мылом руки и легла, забыв о записке. Легла и скоро уснула. А когда проснулась, была уже половина ночи. Зажгла в кухне свет, прочитала записку от Вити, но не сразу разобрала, что в ней написано. Слезы закипали, я погасила свет, разделась до рубашки, закрыла на крючок дверь и легла.

«Мама! Уехал провожать бабушку. Там будет видно. Жди вестей. Мамаша, папаша ни при чем. Только жалко. Жалко Лидочку и Васю. Не поминай лихом. Целую. Виктор».

Утром робко постучали в дверь. Спросила: «Кто?» — «Да я, — отозвалась мама. — Думала всю ночь — приедешь или не приедешь? Ну, приехала, и слава Богу. Поспи еще. Если велишь разбудить когда — не забуду, разбужу. Спи».

Вити не было дома полгода. Через полмесяца, может чуть пораньше, начали приходить письма из Красноярска, разные по настроению и содержанию. То писал, что скучает и постарается поскорее вернуться, как только уладит кой-какие дела. То с пиевом, не выбирая выражений, писал, что давно надо было разойтись и не создавать видимость, что как мы жили — это тоже есть жизнь. То писал, что близких родных оказалось меньше, чем думал на самом деле. *«С большим опозданием, но хвалю себя, что взял и все разом оборвал! Хватит, побатрачил, поел оговоренный кусок, похлебал баланды, под названием пища...»* На все письма — я отвечала на каждое из них — отвечала очень кратко, по существу ни о чем.

Погода холодила, но не напористо, чтоб сразу в зиму, а так... Почти так, как потом, спустя много лет, выразит поэтесса, как будто почувствовав мое состояние:

Предзимье. Странная пора.
Не холодно, но как-то знобко.
Зима переступила робко
Грань осени еще вчера.
Но не вошла, а у дверей
Присела скромной ученицей.
И, всхлипывая, плыли птицы
Ночами черными над ней.
Распластанные в вышине,
Роняя перья у излучин,
Еще надеялись на лучшее
Они по собственной вине...

(Г. Белова)

У меня впереди не только переживания, боль разлуки, робкие ожидания: «А вдруг...» Но у меня и забот о-го-го сколько! Надо что-то решить с дровами, пока буржуйкой-экономкой, изготовленной в артели «Металлист» еще при Вите, обходилась. Как-то Иван Абрамович привез, кажется, уже на санях, дров и в придачу сушеной малины да связку веников, заготовленных до поры и немного луку. Ко мне часто стала забегать Полинка Малькова — она заканчивала библиотечный техникум в Кирове. Забежит, посидим, поговорим, повспоминаем. Она тоже не раз обмолвилась в воспоминаниях, что когда мы были в «ВЦ», в Станиславчике, там, говорила она, для меня была, пожалуй, самая счастливая жизнь...

Однажды она сказала, что отец ее, дядя Ваня, перешел работать на лошади и может чего привезти, увезти, ему пока в этом не отказывают. Я заикнулась, может, ему и дров выпишут, может, на его имя, если на меня нельзя, что для меня эта самая большая забота. Пока еще беременность небольшая, я могу пилить, колоть, складывать и одновременно дитя будущее закалывать. Она как-то не очень весело повела головой, не пообещала, но и не отказала. А я, чтоб «закрепить» деловой разговор, сказала, что, если дадите вату, материал и нитки, выстежу одеяло, мягонькое, легонькое, какого размера надо, такого и сделаю. Можно бы одеяло и в артели у нас заказать, но там вату расстилают неровно, рисунок редкий, некрасивый, а я такое могу — загляденье!

— Правда, что ли? — удивилась Полинка, даже рассмеялась. — Ну, милая, ты даешь, — сказала.

А я уж подумывала, что надо бы мне этим делом заняться — и время быстрее пойдет, и подработать можно, все равно в избе пока свободно. Как-то вечером принесла от мамы пяла. Азарий, узнав о моих намерениях, пришел, спросил-поинтересовался, как печка топится, не дымит? Хорошо ли греет? Потом рамы осмотрел и пообещал в двух заменить треснутые стекла, промазать замазкой, а проконопатить, мол, сама. Пообещал — сделал. И пакли принес, чтоб щели у рам проконопатить, и я, не теряя времени, быстро чего поем-попью, придя с работы, — и за дело. Нарезала все от той же Толиной кальки ровненькие полоски, оклеила рамы. Слушаю радио, о Вите думаю: где он, с кем? Думает ли о доме? Иногда плачу, иногда пою, не то, что пою, а когда привяжется какая-нибудь песня, ни к селу, ни к городу, а от языка не отстанет... Полинка забежала как-то вечером и наказала, чтоб я или Азарий были бы дома — отец обещал дров привезти. Братец Азарий в деле мне не отказывал, о чем попрошу — сделает, если сможет.

Не раз и не два вспоминала о Владимире Васильевиче, тогда молодом еще хирурге, который, оказывается, любил меня. Витя по-прежнему писал, и нередко, если говорить по правде, но пись-

ма те были и не письма вроде, а так: откроет дверь в избу, выпалит заряд, какой он, какая я, какие все корякинские, вспомнит, как устал тогда таскать на кладбище покойников, выпустит в избу холоду, да кабы в избу — в душу, — и захлопнет дверь, замолчит на время. А я отвечаю, что живем по-старому, новостей нет ни у нас, ни в городе, сообщила, что Сергей приехал. Иногда о родителях напишу несколько слов, что, слава Богу, пока на ногах, погода такая-то, чтоб передавал родным приветы. О себе ни слова.

Витя уже несколько раз с обидой как бы даже написал, мол, сама-то о себе ты хоть что-нибудь да напиши. Как ты себя чувствуешь? Как живется? Кто бывает у вас? Ездил ли в Лысьву, или к тебе Серафима Андреевна приезжала? Я снова вокруг да около. Чего ж мне писать? Как одеяло стежу? Как дня не хватает, чтоб побольше успеть сделать, пока маленького нет? Что плачу часто, как говорится, без свидетелей, как храню, берегу, подживляю, как могу и умею, хрупкую в себе надежду на встречу, как не хочу верить, что будто все у нас позади, все в прошлом, — тогда как в сущности-то ничего еще и не начиналось — как жду, как люблю, как желаю его. И думаю обо всем этом, когда убираю в ограде снег, ношу воду, пока в состоянии, иногда мою пол в родительском доме, потому что младшая моя сестрица закадрила, с утра намаарафеченная, а к вечеру, глядишь, так весела... Забежит ко мне иногда, чего-то повертится, похихатывает — неизвестно отчего ей так весело, — покрутится, похихикает и с тем удалится, потому что не отрываться же мне от дела ради нее — вертушки. Как-то сижу за пятами, стежу одеяло, а одеяло большое, и им я заняла всю комнату, от окна до стены, на кровать пролезаю под ним, утром вылезаю. Вспоминаю, как в детстве, бывало, стежили одеяло, но стежили четверо или пятеро, и дело спорилось. Но тогда надо было сделать поживее, потому что всем с утра до ночи топтаться в кухне — дело ли? А я одна, хоть спи, хоть шей до утра. Часто за этим занятием застает меня только либо Азарий — побеседовать явится, про Софью порассказывает, с нею мы знакомы: она недолго, но работала в госпитале у нас. Да папа заходит. Сядет на табуретку у порога, поглядит, повздыхает, чего спросит или скажет, иногда воды принесет, мол, носил домой, вот и тебе принес — тебе одной-то надолго хватит. А я незаметно четушечку на стол и еще чего уж есть, капустки из подполья достану, луковицу искрошу, маслица сверху. Папа огладит бороду, на руки посмотрит, тыльные стороны у него вечно в темных полосках — дратвы делает или катанки подшивает. Иной раз скажет, как спросит: «Марей, у тебя за печкой постель свободна, может, у тебя заночую — дома мальчонка заболел, всю ночь хныкает, ни матери, ни мне ни покою, ни отдыха... А мать днем пускай поспит, я с им повожусь или, может, ты на час-другой

возьмешь к себе? Так-то славный варнак растет, ись, пить просит — терпенья подождать не имеет».

В другом письме Витя засушенный стародуб послал — где и сохранился? Я и поплакала над ним, и поразглядывала, и убрала на угловик.

Ребенок в животе попинываться стал сильнее. Бывало, сижу, шью чего на руках или рукавицы вяжу, книжку положу на подушку, придаваю немного снизу, чтоб она как на подставке, вяжу и читаю, и вдруг почувствую внутри движение, приостановлю дело и жду, когда локоток или ножка упрется, натянет кожу на животе, затем тихо, спокойно угнездится там поудобней, значит, думаю, задремал. Меня тоже иногда в сон потянет и тут уж мне решать: либо еще пошить, либо укладываться — завтра же на работу.

В одном письме Витя с тревогой написал о том, что на барже кто-то венерической болезнью заболел, а ведь из одной кружки часто пьем. Переживаю очень. Если обойдется, схожу в церковь, надену крест и не сниму до конца дней своих...

Тут уж есть над чем задуматься, да все про себя — кому про это расскажешь?.. Много раз и потом случалось, когда просто не терпелось кому-то пожаловаться, рассказать и через великую силу сдержишь себя, зато потом, утром, вспоминаю, что смолчала, и похвалю себя. В ограду выйду — тихо крутом, темно, только дорога возле линии чернеет в потемках, за линией в редком доме, скорей в кухне, огонек светится: может, кто приехал, может, уезжать собирается, может, заболел. И вспомнится: «Спала в пыли дороженька широкая, набат на башне каменной молчал, и, может быть, стирало очень многое, но этого никто не замечал...» И про себя подумаю: никто во всей округе и не подумает, что вот мне не спится, думается о Вите до сердечной тоски. Надо бы взять себя в руки и либо написать ему, чтоб раз и навсегда, — ну и что тогда? А мне бы маленько, совсем немножко душевного спокойствия, чтоб ребенок родился спокойным. Он-то за что страдать будет, нервничать, вредничать, наверное, и болеть часто, а если так же, как... Нет-нет, взмолилась я от таких мыслей... Азарий приносит книги: читай, развлекайся или отвлекайся. И Поинка тоже нет-нет да и явится с книжкой под мышкой, читай, мол, не пожалеешь. Иногда и содержание рассказывать примется, но прервет себя и с напускной сердитостью выпалит, мол, чего ты, в самом-то деле?! Так ведь и свихнуться можно! Что, так уж и сошелся на нем клином белый свет?! Обнимет меня, погладит по голове, до живота дотронется, послушает, как новая жизнь рвется на волю, будто тут рай...

Попили чайку по второму заходу, и она заспешила домой. Остановившись у дверей, спросила, скоро ли я пойду в декретный? Я

ответила, что в апреле, если в консультации опять не обсчитаются в сроках... Полина уж вышла в сенки, прислушиваясь, когда закроет за собой дверь, а она вернулась с письмом в руке, протягивает мне и молча удивляется: разве я сегодня никуда не выходила?

— Ходила-ходила! Когда с работы шла, его еще не было, а я ведь к нашим еще заходила — попроведать. Завтра Толика возьму на весь выходной — мама устала, измаялась с ним, а я, так сказать, потренируюсь, поразвлекаюсь.

— Ну, читай скорее, может, чего интересное Виктор пишет? Ну, я пошла!

Письмо от Вити и в самом деле было необычное. Вначале общал, что насчет заразной болезни вроде все обошлось. Парня того, который болел, с баржи выгурили и заставили принудительно лечиться, и расписку потребовали, что никому этот подарок не передаст. Дальше писал о том, какая красивая весенняя пора в Сибири, что Енисей весь сверкает-переливается от солнца, торосы как серебром политы, что на работе устает и не уверен, что до конца выдержит, отработает, сколько положено по договору. Что в деревне бывает редко, в городе — тоже. Подумывает, что пора бы и домой подаваться, да вот договор сдерживает, иначе не оплатят, не отдадут зарплату... Не представляю, мол, какая весна бывает на Урале? Какие первые весенние цветы появляются?... И все в таком роде, о чем он до этого в своих письмах ни разу не писал. А в конце подписался, что любит и целует!.. Я много раз перечитала то письмо, прочитаю, сверну, положу под подушку и начинаю думать, представлять, мечтать. Снова перечитаю. Потом, когда Витя вернется домой, а до этого не так уж долго оставалось ждать, я уничтожу все эти письма, изорву, оплачу каждое — и в печку... Не хотела, чтоб с ними так же обошлись, как с теми, а они, письма эти, такие для меня мучительные и долгожданные. Но думать о Вите не переставала, и он уж мне казался не таким, каким был, каким уезжал, а каким-то недоступным уж для меня, что ли, тем более, что я, доживая последние сроки, выгляжу плохо, неуклюжа, мало улыбчива — это только когда дома, когда наедине со своим, еще не родившимся, но таким уж бесценным существом, когда дороже и ближе не бывает. Только пока я еще не могу излить на него всю свою любовь и нежность, потому что он еще не появился на свет и я даже не знаю, кто это будет: девочка или мальчик? Для меня это не имеет значения. Я знаю точно: это моя радость, моя мука, моя тревога и любовь — безмерная на всю жизнь!

Мне хотелось написать обо всем этом Вите моему — он бы представил, поверил и, без раздумий, вернулся бы. Он бы узнал, какой для меня он самый дорогой, самый умный и красивый! Что никаких обид я уже не помню и не хочу вспоминать,

как и обо всем том, что произошло. Что я готова повторять и повторять за поэтессой, которая в своем стихотворении призналась в переживаниях, очень созвучных моему сердцу и уму:

Исчезли мелкие подробности,
Ушла обыденность поспешно.
И ты до неправдоподобности,
До ненормальности безгрешный.
Мы перед временем бессильны:
Что было близким, стало дальним.
Но чем ты дальше, тем красивее,
Чем недоступней, тем желаннее.
Твоим величием подавлена
И удивляюсь то и дело:
Да как же я в ту пору давнюю
Такого полюбить посмела?

(М. Зими́на)

Конечно, я не напишу своему Вите такие слова-признания, у меня пока иные думы и заботы, а сколько всего еще предстоит пережить, перетерпеть, выстоять.

А пока я то на работе, то дома — мою, стираю, чего-то варю, чего-то шью-вяжу. Выбираю время помочь маме, хотя, к сожалению, не постоянно: то полы в кухне вымою, то маленького Толика к себе возьму, иной раз и ночевать оставлю — тоже как бы привыкаю; пеленки на ночь выстираю, высушу, иногда и поглажу. Он уже ползает, пузыри пускает, редко попросится на горшок — услышу, что закричал, значит, надо помочь парнишечке справиться дела, иногда успею, иногда увы. Тогда в таз воду наливаю, обмываю, обтираю и вальну его на кровать, а сама за стирку, за починку: где пуговку к его рубашонке пришью, шнурочек нарощу к вязаным носочкам, чтоб удобнее завязывать, а завязанные он их не так часто снимает. Бывало, уложу его спать на своей, в общем-то, широкой довольно кровати, сделаю барьер из одеяла или подушки, а сама оденусь — и во двор: снег убираю, выкидываю за ограду, пробую долбить канавки — вот-вот ручейки побегут. Глаза привыкают к темноте быстро, да не осень ведь, снег еще не сошел, высветляет, и разминку телу своему даю, чтоб родить полегче было. И дышу, дышу свежим воздухом, и думается тогда не только о печальном, тревожном... Вспомню про Лидочку, погорюю, не раз пыталась представить ее большенькой, что ходит уж, разговаривает о чем, но представить такое мне не удавалось... Всякий раз, заходя в сенки, — на обед ли иду или с работы — все посматриваю, не белеет ли где конверт. Когда выпадала удача, тут уж и бросала вся-

кие дела, мыла руки, присаживалась и не сразу вскрывала конверт, отдыхала недолго, растирая отекающие ноги, особенно в икрах, и думала, что надо поменьше пить жидкости. Решала не раз, но сдержаться было нелегко, работала, стала разрабатывать оперированные не так давно груди, чтоб новорожденного можно было бы кормить материнским молочком. И труды не пропали даром — это я почувствовала довольно быстро.

Долгое время от Вити не приходили письма, и тогда уж я решила, что же делать-то? — пусть будет, как будет, не розыск же мне объявлять: муж исчез! Написала письмо крестной, и она быстро приехала. Я очень ей обрадовалась. Не знаю, куда посадить, чем угостить, стесняюсь своей фигуры, все ужимаю живот, да разве его утянешь? Она заметила, весело усмехнулась, мол, чего стесняться-то, от кого скрывать? Когда вскипел самовар, я постелила новую клееночку, достала чашки с блюдцами, сахар в блюдечке, самодельное печенье, изготовленное на всякий случай.

Себе-то я признавалась всякий раз, что если вдруг Витя придет, — будет с чем чай пить. А в этот раз угощала дорогую свою гостью чаем с домашним печеньем. Она быстро, согласно подседа к столу и, заметив, что я, накинув шинель, засобиралась уходить, настороженно спросила:

— Милечка! Ты куда? Я не успела приехать, а ты...

— Я маму позову, а если папа дома, то и его.

Она кивнула, мол, хорошо и сделаешь, что их пригласишь, здесь и повидаемся, мол, поговорим. «Я очень глубоко уважаю твоих родителей и очень рада тому, что ты уже успела так много перенять от них доброго и необходимого в жизни». В подарок мне крестная привезла пять метров полотна — на приданое маленькому — и хоть не новую, но очень славную, легкую и теплую кофточку вязаную, и пояснила: будешь носить, чтобы снова не застудить груди.

Весна началась дружно, весело, с крыш капало, сосульки со звоном осыпались на не оттаявшую еще землю, и только все тоскливей делалось у меня на сердце. Что же еще ждет меня? — грустно думала я перед сном. Может, Витя еще чего надумал или заболел, не дай Бог, или, может, и родину уж свою покинул, на теплые края променял?.. Иногда надолго тревожно задумаюсь, иногда не замечу, как усну. Утром все сначала: попив чаю, забегу ненадолго к нашим, ключ оставляю, мол, чтоб не обронить где, а он один, спрошу, как ночевали, и на работу — там скучать и предаваться раздумьям некогда, там работа, там соображать надо.

В середине марта от Вити пришло письмо-поздравление. На конверте нарисовал цветочек, в письмо опять вложил засушенный стародуб и еще десять рублей и с извинением как бы написал, мол, знаю, что на цветы не потратишь, тогда купи чего-ни-

будь к чаю. В конце приписал, что, мол, что-то тоскливо делалось, даже читать книги не тянет, что собирается съездить в деревню, зайдет к тете Тале — жене Кольки старшего, иначе Николая Ильича, может, письма есть какие... для меня.

Внешне дни по-прежнему похожи один на другой, но прибавилось работы — в подполье подошла вода, и я с перерывами вытаскивала ее наверх, картошку рассыпала на полу за печкой и в проходе к умывальнику. Иногда так уставала наклоняться и разгибаться, что плакала, и тому лишь радовалась, что никто это не видит, главное, не видит меня такую Витя, как я кожилуюсь с раздавшимся животом, отечными ногами и руками. Все время держала на плите теплую воду, после такой изнурительной и неудобной работы, когда пот градом, обмывалась до пояса над стиральным корытом, вытиралась старенькими еще от Лидочки пеленками. Они на пеленки-то не походили, но на подгузники еще сгодятся — старенький, мягкий ситец не раздражал нежное маленькое тельце.

Родители нам выделили в своем огороде, с краю, три гряды под мелочь. В какой огород ни глянешь — везде люди копаются: гряды готовят под мелочь да под рассаду, с картошкой уж отсадились многие. Под картошку нам дали землю старшая сестра Клава с мужем Иваном Абрамовичем. У них три сына, один-то еще, кажется, и из армии не пришел, а Ленка с Вовкой какие-никакие, но помощники. Иван Абрамович руководит и без дела никому сидеть не дает. Они для себя и картошку посадили, и овощи, и нам выделили земли ведер на пять, их семена, и они в этот раз, этой весной (или уже летом) за нас, за меня — поскольку Вити нет дома — сделали.

На грядках в мамином огороде я посадила морковь, лук, чеснок, горох и репу. На дальней гряде, за баней, папа как садил табак, так и в тот год посадил. «Курево не больно корыстное, говорил он, — но курить можно, без курева изведешься весь — привык уж...» Я осмотрела свою работу, себя: руки грязные, в земле — не беда, а ноги отеки так, что отекающие икры, как подошедшее в квашне тесто, перевалились за голенища. Мама на крыльце сидела на лавочке — чистила картошку, не целую, а половинки, оказавшиеся без ростков, — на завтра. Я маленько с ней посидела, показала, что вон с посадкой тоже все закончила, а уж устала, прямо не знаю как.

— Да, конечно... Может, пойдешь да дома полы вымыть еще надумаешь.

И меня как осенило: конечно, надо вымыть, чтоб все осталось чисто и прибрано, когда из больницы с ребеночком приду, никаких хлопот. С ним, с ребенком-то, и так забот хватит: пеленки, постирушки, накормить, спать уложить. Я через силу стачила с ног сапоги. Приготовила возле кровати, что надену, что с

собой, взяла ведро, тряпку и проворно поначалу взялась за дело. Кухню домывала с трудом, через силу, можно сказать. Домыла, коврик под ноги постелила, ноги вымыла тщательно, ногти остригла да и сама до пояса как бы окатилась. Оглядела жилье свое усталым, но удовлетворенным взглядом, надела чулки, чтоб не суетиться потом, рубашку, лифчик, все чистое надела, оставила приготовленный халат, туфли и пальто. Полежала минут десять — не ложится. Встану, похожу, опять прилягу, но на минутку другую — снова поднимаюсь. А потом уж и ложиться не стала, а когда схватки начались, надела пальто, туфли, закрыла избушку на ключ — и к маме. Стучу в дверь, а она, бедная, наверное, и улежась-то не успела. Распахнула дверь, охнула, схватила шаль шерстяную большую под мышку — на случай, как потом объяснила, мол, вдруг дорогой роды начнутся... Меня маленько отпустит — я бегом, она отстанет, как меня прихватит, я присяду, она той порой меня догонит... Дворник в больничной ограде метлой работал, поглядел на нас, покачал головой, и снова за дело. В приемном покое велели раздеваться, чтоб на топчан ложилась, всю обмеряют, потом в ванну и тогда в родильную палату... Я пальто сняла, один туфель расстегнула, рубашку через голову стянула, и тут меня так схватило, что я другой туфель и снять не успела, в нем и залезла... Пока залезала на высокий стол в родильной палате, воды отошли, роды начались. И я закричать от боли не успела. Обступили меня, переговариваются акушерки, на живот давят... И вот оц! Крик! Прорвался, через момент какой-то повторился. Я приподняла голову и тут уж крикнула так крикнула: акушерка держала за ножки вниз головой мою дочку, в полоску! Синеватую-розовую, белую и как кровоподтек...

— Успокойтесь, мамаша! Успокойтесь же! Девочка живая, хорошенькая, полосатенькая... это пуповинка ее так перепоясала, бывает... Все будет хорошо, вот увидите...

Я обессиленно опустила голову и почувствовала, как освободилась от последа.

— Слава Богу! Слава Богу! Доченька!.. Ручки, ножки, глазки, носик, ротик, ушки...

— Все-все при ней! Молодчина ваша дочка! И вы, мамаша, молодчина! Сейчас ее обработают, вас тоже... и будете отдыхать, приходите в себя от боли и радости. Все будет хорошо. Лежите.

К вечеру я сама, самостоятельно, возле стенки, придерживаясь на всякий случай, дошла до палаты, санитарочка показала мне на кровать, к спинке привязала на шнурочке детскую оранжевую клеенку-бирочку, на которой написаны фамилия, вес, рост, число. Я лежала, волновалась в ожидании, когда принесут кормить ребенка. Порастирала груди и, надавив на соски, увидела выкатившиеся капельки голубоватого молочка, и пока-

тились у меня слезы от радости, что молоко появилось, что девочка будет сыта, — слезы были облегчающие, крупные, они опять скатывались, как когда-то, давным-давно, еще... в уши, на шею, слышно было, как капали на подушку...

— Господи! Дай жизни моей маленькой и такой еще пока беспомощной и беззащитной дочке! — и уснула.

Утром ходячие — как со смехом одна из рожениц выразилась, мол, мы уж отстрелялись, теперь можно и по новой — подносили таз и чайник, умывали ослабевших рожениц, утешали, обнадеживали. И та женщина-роженица, конечно же, и не предполагала, что вот так будет глушить в себе предродовую боль. Зато потом, когда все уже будет позади, к просветлевшим, облегченным, усмирненным появлением младенца женщинам вернется радость и надежда, желание жить во что бы то ни стало, пусть и живется по-прежнему трудно, в нужде и заботах. Пока же они переживают самую нежную радость к появившемуся на свет дитю и уж чего только не сделают для того, чтоб жизнь продолжалась. Некоторые уж шутили, подсмеивались одна над другой, мол, в цирке такие фортеля не выделывают, как ты! Мечтали, с нетерпением ждали выписки, мол, все в порядке, ребенок здоров и сама она тоже — можно бы и домой, даже не думают о том, что тут ни пеленки стирать, ни пищу варить не надо, и с ребенком пока спокойно: принесут — покормишь — унесут, и ты отдыхай, отсыпайся пока, а дома-то — ого-го! — сколько дел и забот сразу навалится! Не успеешь опомниться — и сразу впрягаться придется, да скоро и не в одну смену. Чего ж за примерами далеко ходить?

Встала утром, убрала кровать, на базар сходила, щи сварила, собрала дочурку погулять, напоила всех и накормила. Разогнула спину от полов, поглядела на часы тревожно. «Слава те... — подумала без слов, — вот теперь и на работу можно». И все-таки молодые, да и не очень молодые мамы, родившие, давшие жизнь малым и милым существам, представляли ожидавшие их хлопоты и заботы, дела вечные и бесконечные, уходили из больницы, поблагодарив врачей, просветленные, похорошевшие, облегченно-радостные, они открыто смотрели в глаза людям и детям своим, которые ждут дома.

Зато из больницы, где производят прерывание беременности, по-простому, делают аборт, — больницу ту назвать больницей не очень и подходяще: уходили из нее совсем не так. Даже девки, нагулявшие на стороне дитя и вот освободившиеся от него, спешно и сердито одевались, не глядя никому в глаза, обувались, и у них то шнурок у ботинка рвался, то пуговица отрывалась, то одна другую нечаянно толкнула, может, и не толкнула даже, а задела невзначай в тесноте — вспыхивала короткая

перебранка, у порога толпились те, которые еще не получили справки на освобождение от работы на три дня — их, те справки, не оплачивали, они нужны были лишь, чтоб им прогул не поставили на работе, получали — и были не были!..

До обхода врача уже дважды приносили детей на кормление. Я не могла насмотреться на свою доченьку, чуть-чуть прикасаясь пальцем, разглаживала ниточки-бровки, слегка щекотала пухлые, местами беленькой крупницей присыпанные щечки, и девочка моя делала попытку улыбнуться, открывала глазки и начинала причмокивать губками — я тут же давала грудь, чтоб лучше поела, тогда и спать будет спокойнее. Когда детей уносили, а женщины по палате начинали разговаривать кто о чем, спрашивали, кто да что, кто отец, есть ли еще дети? — я укрывалась простыней с головой и, если уж было совсем грустно и обидно и никак не могла сдержаться, то плакала, а вообще, делала вид, что сплю.

На другой день к вечеру приходила мама, принесла бутылку молока, чтоб сама пила-ела, спросила про здоровье, про ребенка, когда обещают выписать. Я на все отозвалась спокойно, как только могла, а потом сказала, чтоб Зоря или Тася наносили бы воды да протопили бы печь, что я здесь не задержусь — все нормально, так и отпустят. На третий день мама же принесла в узелке все приготовленное для ребенка, у меня одежда здесь. Если Полина Малькова зайдет, так нашла бы время — пришла бы... я была бы ей рада.

Когда во время обхода я стала настаивать на выписке, врач подумала, попыталась отговорить, но больничный принесла, положила на тумбочку. А вечером пришла Полина, и мы с нею неторопливо собрались, всем пожелали добра-здоровья, попрощались с врачом и отправились домой.

Был теплый майский вечер, девятнадцатое число, 1948 года, пятница. Мы идем домой. Встречных мало, значит, и излишних разговоров-расспросов не случилось — я этого побаивалась. Даже не побаивалась, а попросту не хотела.

Дома тихо, тепло, чисто. Полина разогрела самовар, стала накрывать на стол, даже бутылку кагора принесла с собой. Я тщательно вымыла руки и развернула малюсенькую девочку — два килограмма семьсот граммов! Она почувствовала свободу от туго спеленавших ее пеленок, стала смешно потягиваться, шаркать ручками, похожими на лапки, захекала, потому что лежала на сырой пеленке. Я приготовила все сухое, осмотрела тельце — чистенькое, подопрелостей почти нет, слава Богу. Дотронулась губами до ее пушистеньких темных волосиков надо лбом и расплакалась.

Полина послушала, подождала, потом подошла к кровати и сказала:

— Марийка! А ты чего плачешь-то?! Смотри, какая у тебя лялька! Прелесть! Завертывай ее давай, пока она не замерзла, покорми, и она уснет, а мы с тобой «за жизнь» разговаривать станем, если хочешь, а лучше попьем винца — за здоровье младенца, за твое, ну и за мое, — хохотнула коротко. — Чего бы ты без меня-то делала?!

Хорошо так мы с нею посидели — она все знала-понимала. Попросила ее купить пустышек, можно и на бутылочки — я покупала, да куда-то так положила, что и вспомнить не могу. И еще, чтоб дала Виктору телеграмму: «Родилась дочь, как называть, на какую фамилию записать? Мария». Адрес на обороте. Поблагодарила за все, за помощь, поддержку, и она ушла — ей завтра на работу. Утром заходила ненадолго мама с Толиком на руках, говорит, хотела до рынка дойти, да с ним несподручно. Оставила я Толика у себя и только все поглядывала, чтобы он не залез к маленькой девочке — ее пока нельзя трогать ручками, можно только смотреть и то не долго. Он хорошо поел манной каши, напились чаю, и каждый за свое. Ему дала катушки и ложки — играть. Воды накипятила — Полина обещала вечером зайти, чтоб перед сном девочку выкупать...

Пока я еще толком как-то не определилась: с чего начать нашу теперешнюю жизнь. Днем мы с ней погуляли по улице, она легонькая, маленькая, от ветра захлебывается. Потом пеленки постирала, в ограде натянула веревку от ворот до угла, развешала, они хорошо, быстро высохли. Приготовила ванну — промыла с мылом, прокалила на солнце, прислонив на изгородь. Принесла — достала с вышки — зыбку, тоже с мылом всю вымыла, папа очеп в дровянике отыскал, приспособил, чтоб зыбка пришла над кроватью, в ногах. Из марли сделала небольшой над зыбкой полог, чтоб мухи не беспокоили, постельку изладила и на вторую ночь уложила дочку спать отдельно — в зыбку — и самой спокойней, и ей.

Папа посидел почти весь вечер. Говорит, чего-то не очень может, с тем, с варнаком-то, хотел в ограде чего поделать, а он везде лезет, то и гляди, топор возьмет или пилу. Поскладывали дрова, старый да малый, смех и грех... Спросил, есть ли вода? Как с дровами? Мать сказала, что как запишешь ребенка в ЗАГСе, так и на молочную кухню талон дадут. Долгонько помолчал и только тогда спросил, мол, Витя-то чего пишет — нет? Сказала, что пишет, не часто, что о дочке пока не знает, завтра напишу. Папа еще помолчал и опять спросил, опустив отчего-то глаза, — как, мол, думаешь, приедет, нет? Дело молодое... Может, уж и женился, может, с работы не отпускают. Не переживай шибко-то, Марей. Как уж будет... Чем можем, поможем, не привыкать, в беде не оставим. Не переживай больно-то. С этими словами и ушел.

Тут и забежала Полинка, наладила все для купанья, поразговаривала ласково, склонившись над малой.

Витя ответил быстро, тоже телеграммой: «Пусть будет Ирина Астафьева. Приеду, оформим, как положено. Виктор».

С Витиной телеграммой мы с доченькой Иринushкой сходили в ЗАГС, зарегистрировали ее. Наведались домой, чтоб покормить ее да перепеленать, — и в детскую поликлинику. Там осмотрели и сказали, что ребенок здоровенький, хороший. Завели на нее историю болезни, написали, когда показаться, и выдали талончик для детской кухни. Можно, мол, не сразу, но лучше не откладывать, чтоб вы были в списке. А детская молочная кухня близко, на улице Ленина, и мы с мамой посоветовались, что пока моего молочка Иринке хватает, это питание пусть употребляет Толик, пусть растет. Иногда за питанием ходила я, иногда мама, иногда Таисья, надев на племянника чистенькую рубашечку, трусики, сандалики, иногда то на руки возьмет, то медленно, шажками, идут за питанием для сестренки.

Иринку окрестила Шура Семенова, веселая, самоуверенная молодая женщина, у которой уже был свой сынок. А у меня подходил срок выходить на работу — в ту пору не давали длинные отпуска роженицам. Что делать? Работать так работать. Принес папа от соседей, а может, и сам когда-то сделал, да был за давностью лет, «дупло» — такое хорошее сооружение для малых. Внутри сиденье — маленькая скамеечка: малый может на ножках постоять, посидеть. «Дупло» со всех сторон пеленкой теплой или одеялом стареньким обложено, на сиденьице кладут еще пеленку или платок старенький, сложенный в несколько раз. Очень это «дупло» удобное. Все за столом, и малый как бы в компании, то до ложки дотянется и либо в рот тянет, либо уронит, то хлеб мумляет, все с ним разговаривают, он воркует на своем языке. В таком «дупле» Иринка моя много времени проводила, иногда и жалко ее было очень, на руках бы побольше подержать, погулять. Но это уж не в обеденный перерыв, после работы — вечер наш. И погуляем с нею, Толика за руку рядом ведем. Покормлю — и в зыбку спать-отдыхать, а сама ногу засуну в привязанную к люльке петлю из старого и покачиваю, и баюкаю, а сама то картошку чищу, то пеленки стираю — прервусь ненадолго, чтоб воду сменить или развесить, или печку-экономку растопить, снова покачаю, пока не уснет, тогда закину положок легонький — и за другие дела. Иногда успею у родителей — уборку сделаю, хотя бы в кухне, то воды намошу себе и им, два-три раза схожу, для бани...

Как-то весь день места себе найти не могла, все чего-то ждала, не загадывала, что хорошее чего-то меня ожидает. Иринка, слава Богу, пока здоровенькая, и молочка ей хватает. Мама по-

делает чего по дому, потом полежит сколько-то и снова за дело. Азарий с папой встали, уже на мох определили два сутунка в стайке, под окном вовсе оно вываливаться стало, а ведь не все тепло будет, гляди, дак и осень подкатит. Толик тут же суетится, то строит чего из щепочек, то опилки на голову себе сыплет, пока в глаза не попадет. Я взяла Иринку, пристроилась на невысокий чурбачок, слушаю разговор с братом, наблюдаю, а сама места себе не нахожу — мучаюсь в мыслях: «Ну что еще, какая напасть идет на нас, на меня ли? Может, с Витей что? Не всякое же время там гуляет да веселится, написал же, что домой бы собираться надо, да работа задерживает. Я не знаю, что там у него за работа, но если с ходу его уволить не могут, значит, не могут. Мама опять ночами спать, говорит, стала вовсе плохо. И Таисия все по командировкам, по лесоучасткам, все верхом на лошади... Не для девушки такая работа, а ей отчего-то даже весело — не накуралесила бы чего... Да и Сергей с Тоней вовсе редко заходят — наверное, некогда или еще что, — они живут далеко, и я почти ничего про их жизнь не знаю...»

— Скоро косить начинать надо, — заговорил папа. — Ходили мы с Зорькой, поглядели, трава хорошая поднялась, почти уж выстоялась. Как подумаю про сенокос, так сердце и сожмется. Вообще-то, эта работа радостная, на вольном воздухе весь день, литовки налажены, отбиты, грабли, вилы — все в исправности. Не знаю, как только без помощников-то обойдемся? Ты, может, отпуск оформишь? — обратился он к Азарию. — Хорошо бы тогда получилось, легче бы и быстрее управились.

Азарий прищурил в хитровой улыбке глаза, посмотрел на отца и как бы серьезно сказал, мол, главное, чтоб Софья отпуск взяла. Она, ты знаешь, какая работница! Какая покосница?! Не знаешь! А она нас с тобой за пояс заткнет, обоих! Не смотри, что невелика да кривенька!.. Папа покосился на него и с укоризной сказал:

— И чего ты мелешь пустое? Я ведь о деле толкую, а тебе все шуточки...

— Ладно, папа, не сердись. Уж и пошутить нельзя. Скоро у нас дома только вздыхать да слезы проливать и можно будет... Скажешь, когда понадобится рабочая сила, позову своих орлов — Пашку Пичугина да Герку Конюхова. Узнаю, когда у него поездки, когда выходные — и все будет путем...

— Путем, путем, — еще маленько поворчал себе под нос папа, с Иринкой как бы поговорил маленько, улыбаясь да головой кивая.

— Расти давай. На свете всем места хватит, и вообще... детская кожа не висит на огороде... Ну, Марей, идите отдыхайте. Завтре выходной, будет время, дак в огороде пополоть матери маленько пособишь — у меня чего-то пальцы вовсе не прово-

рят. Такое чего делаю, тоненькие травинки никак ухватить не могу. Попытался как-то — дело бесполезное... А я маленько еще тут чего поделаю со своим помощником — он, варнак, помогать-то еще толку нет, но то и гляди, то молоток куда заташшь, то гвозди рассыплет. Ничего-о, пускай привыкает.

Дома я уголки к шестку подмела, половички поправила, накинула халат и стала продолжать вязать крючком скатерть из ириса. Цвет красивый, рисунок выбрала попроще и, когда укачиваю Иринку, засунув ногу в петлю, вяжу или читаю — больше стихи. Полинка приносит сборники, иной раз по несколько штук. В стихах — я уж давно для себя заключила — иной раз даже в коротком стихотворении, а так много смысла! Будто целую книгу прочитала. Да и с детства, когда в школе училась, часто давали учить стихотворения наизусть, и чтоб просто сесть за стол, открыть книгу и зубрить — редко так бывало, я и не помню такого. Все с задельем: настала моя очередь пол мыть — я книжку открытую на нужном месте положу на табуретку и даю себе норму: вымою четыре половицы и выучу четыре строчки.

Нет, не сидится, как говорится. Поставила в кухне на стол старенькую мамину швейную машинку и принялась шить из подаренного крестной полотна пододеяльник, почти закрытый, только снизу конец пододеяльника прошила с концов: зашила по одной трети и одна треть оставалась, чтоб вдевать туда самодельное временное одеяло; на марлю расстелила нетолстым слоем вату, покрыла второй половиной марли и, сшив через край кромки, прошила как наметкой вдоль и поперек, образуя клетки в полтетрадный лист. Теперь у Иринки — мама моя звала внучку не Иринкой, а Ринкой: ласково и кратко — два одеяла. Время уже было позднее, я перепеленала девочку в сухое, покормила и, уложив ее в зыбку, улеглась и сама...

Утро вроде бы ничего особого не предвещало, однако около часу дня забежала Тася и со странной оживленностью сообщила мне, что зашел к ним человек, одетый в полувоенное-полутражданское: в гимнастерке, в военных брюках, в ботинках, вместо шинели или бушлата кожаный пиджак. Меня спрашивает, ждет уж минут двадцать. Я замерла, пытаюсь предположить, кто может быть, а потом сказала ей с удовольствием, чтоб проводила сюда, к нам, ко мне. Она пожала плечами и упорхнула. А я как осталась стоять, так и стояла и лишь, услышав шаги, постаралась принять обычное выражение лица. Хватило меня ненадолго.

В дверях показался мужчина, белозубо улыбаясь, снял фуражку и, чуть пригнувшись под притолокой, остановился у порога, хотел оглядеться, но, увидев, как я почти до крови закусила губы, чтобы не вскрикнуть, схватил меня, обнял крепко и, склонив голову на мое не только не могучее, но и невысокое

плечо, все крепче обнимал меня, чуть покачиваясь из стороны в сторону.

— Да откуда же ты такой взялся? — заливаясь слезами, смотрела я в глаза Владимира Васильевича, госпитального хирурга. — Откуда же ты свалился на мою голову, Господи? — Чуть отстранившись, я разглядывала его лицо, такое до боли знакомое, ничуть не забытое, будто и он, и госпиталь, и все-все было совсем недавно, совсем-совсем недавно. — Володенька! Милый! Хороший мой! Дорогой мой! Как же я тебе рада!.. А я все не готова к встрече с тобой. Нам же не надо больше встречаться... Всего столько произошло... столько всего изменилось... И как же я все-таки тебе рада! Ты живой! Здоровый! Молодой! И вроде еще моложе и красивей стал... Ох ты, Володя, Володя! Ты — моя молодость! Ты — гордость моя! Я сожалела, что отказалась переводиться в твою часть. Я тебе очень благодарна, но никак не могла решиться. Не знаю, почему?

Я не заметила, как мы уже оказались за столом, и Володя своими серыми, пронизательными и когда-то очень веселыми глазами пристально разглядывал меня. Это меня отрезвило, и я попросила его так на меня не смотреть. Я плохо выгляжу, кое-как, по-домашнему, одета... Мы перебивали друг друга, словно боялись, что не успеем наговориться. Я рассказала, что письмо его получила и потом долго не решалась расстаться с ним, и беречь его было не безопасно. Прятала-перепрятывала: то в подушку зашивала, то в детское одеялко, то в карман фартука — зашпиливала булавкой. И много-много раз перечитала, пока... И рассказала грустную, даже жестокую по отношению к нему и его письму, историю, с ним приключившуюся. А потом, когда дочку, первенькую, схоронили и душа моя опустошалась, и мне показалось, что более она, душа моя, уже не способна ничего столь волнительно переживать и чувствовать, лишившись письма, так долго хранимого, — как надежды... тогда и решила:

Кто-то плачет, где-то полночь.

Дым озябший над трубой.

Я тебя уже не помню.

Это правда.

Бог с тобой...

Зашла мама. Поздоровалась. Я сказала ей, что это хирург из того госпиталя, где я работала в начале войны. Владимир Васильевич. Да ты, может, его не раз и видела, да забыла... Он тоже был на фронте. Многим раненым жизнь спас, оперировал иногда чуть не в чистом поле да под обстрелом. Сам много раз ранен, много раз награжден. Вот заехал повидаться, встретиться.

Мама какое-то время слушала меня как бы с недоверием, потом подошла к нему, поцеловала в плечо — выше-то не доставала — и еще, сдерживая рыдания, сказала, мол, будь вы там, где мои сынки погибли, может, и спас бы хоть которого-нибудь... «Ну, прости меня, старую да неразумную... Мария, Иринка-то спит? — Я утвердительно кивнула. — Ну, я пойду, не стану мешать вам, посидите, поговорите... такой случай...»

Володя посмотрел вслед моей маме, прикрыл было дверь плотней и тут же передумал, приоткрыл ее — так тепло и хорошо на улице. Заглянул в зыбку, осторожно, двумя пальцами приоткрыв легкий полог, сел напротив и сильно надавил мне на колени, чтоб не только не ушла, а даже и не ворохнулась бы, и уставился в меня каким-то — будто он уже все и навсегда решил — взглядом:

— Машенька! Родная моя! Я здесь проездом, мог бы прямо-ком, да вот не мог... Я, кажется, все понял, если не все, то почти все... — Заметив как бы мое несогласие, протест ли, заторопился: — Не перебивай меня, Маша! Сейчас меня не надо перебивать. Я был бы рад... счастлив и благодарен тебе, если б ты на этот раз решилась принять мое предложение, приглашение... Как хочешь, так и понимай. Поедем со мной, Маша! Поедем! Вот прямо сейчас! Как есть! Все оставим и поедем... — Я быстро поднялась со стула и попятилась к зыбке. — Вместе поедем! Ты, я и она! И навсегда! Чтоб вместе... Меня пока вот откомандировали в Миасс, сказали, временно, а потом уж обоснуемся, обживемся основательно. И детей еще нарожаем!..

— С меня пока двоих хватит. Одну уж схоронили...

— А муж?... Из наших, бывших госпитальных, или нет? — Я отрицательно покачала головой. — Из дальних, значит. А сейчас-то он где? В командировке или завербовался куда — сейчас это модно... или вообще в бегах?

— Володя, не надо так. Он — бывший беспризорник... при живых родителях. В детдоме жил, затем учился в ФЗУ, затем работал на станции, составителем поездов. Затем ушел на фронт, мол, все равно плакать обо мне будет некому, если и убьют. Ранен не раз, но, слава Богу, живой остался. Он очень хороший человек, и очень ему трудно, очень. Поехал бабушку неродную провожать да вот надолго задержался. Без него и родила. А он мечется... Кто бы объяснил, за что ему такая доля?..

— Ты-то, что ли?

— Кабы я... Молодость — в прошлом, здоровье — в прошлом... Единственную профессию — составитель поездов — потерял из-за ранения. Пошел по разным работам. А он начитан, хорош собою, умен, правда взрывной — так тут от такой жизни станешь не только взрывным, а и похлеще кем... Скоро обещает приехать...

— И ты ему веришь?

— Конечно!.. Вот и тебе надо вроде бы доказывать, что он очень порядочный человек, хороший и я его очень люблю! Он не сопыется, он обязательно выбьется в люди, обязательно! Ему бы только маленько счастья да душевной светлости... а тут еще и семья наша... Боже мой! Чего только не было: на двоих братьев похоронки пришли, трое раненные-перераненные явились. Сестра тоже добровольно на фронт ушла, там замуж вышла и вот... умерла, оставив месячного сыночка... Он сказал как-то, что устал моих родственников на кладбище таскать да закапывать, мне бы от смертей отвыкать надо, иначе ни сердце, ни голова не выдержат...

— Он когда приезжает?

— Не знаю...

— Тогда собирайся и поедем со мной. У нас еще есть два часа до отхода поезда... Думай, решай... поедем! Ну, прошу же я тебя — поедем!..

Я сходила к нашим, отнесла спящую Иринку и попросила маму поводить с ней — я только Владимира Васильевича провожу. Я недолго. Ключ на гвоздике.

Мы с Володей шли по линии, по сухим и теплым от солнца шпалам. Володя что-то говорил, говорил мне, торопился, а я его уже слушала и не слышала. Показалось, до вокзала дошли довольно быстро. На вокзале встретила некоторых знакомых Виктора, с ним тут же работавших, на мгновение представила, чего они наговорят ему, когда увидят, когда встретятся. Да пусть, — мысленно отмахнулась я. А Володя шел с закомпостированным билетом на ближний поезд. Сжав меня за плечи, долго, до рези в глазах, смотрел на меня. Когда подошел поезд и мы остановились у нужного ему вагона, он крепко поцеловал меня, покусав губы, проморгался, ухватившись за поручень вагона, и пока я успевала рядом идти с вагоном, все повторял:

— Сообщи, если что? Я адрес сразу же сообщу. Только не молчи. Отзовись, как будет, все равно напиши, не напишешь — сам приеду... И тогда уж будет по-моему!..

— Да уезжай же ты, — взмолилась я.

И он отступил в глубь тамбура вагона, а я подождала, когда состав пройдет, перебежала через пути и заторопилась домой.

Иду опять по шпалам — это лучший способ никого не по-встречать. Все же ходят по тропе или по дороге, думаю об Иринке, наверное, проголодалась, плачет, а мама недовольно ворчит. И тут же мысли: чего ему, Вите, эти вокзальные бабы наговорят про меня... и как он... И не к месту, вовсе не к месту и не ко времени, припомнилась песня, которую пел в вагоне сосед по полке, только я с этой стороны, а он как бы за перегород-

кой, в купе рядом: «... Молодой казак вел коня поить... А ревнивый муж вел жену топить...»

Иринка уже сидела в «дупле», пускала пузыри, увидев меня, захныкала. Мама вышла из спальни и с укоризной тихо сказала:

— Чего уж так долго-то? Ребенок есть хочет, я из окна в окно...

А я уже вытаскивала мое милое существо из седухи, как иногда называли то «дупло», нащупала мокрую пеленку, взяла ключ, и мы с нею — две сиротинушки — отправились восвояси. Там нас никто не видит, никто не заругает, никто не пожалеет.

Вымыла руки, распеленала Иринку, подложив сухонькую пеленку, погладила ее, ручки-ножки повытигивала, погугкала, дала пустышку и, пока переодевалась, оглядывала кухонный стол и плиту, соображая, чем червячка заморить. Да ладно. В чистенькое запеленала дочку, взяла на руки и стала кормить. Ела она, жадно сглатывая молочко, стискивала грудь ручонками, и я расплакалась.

— Заждалась ты меня, будь побольше, подумала бы, что спокинула на стариков — им уж заодно... — Слезы начали душить меня, и я едва их уняла — нехорошо ребенка кормить и слезами заливать, надо успокоиться. — Сейчас пей молочко, быстрее вырастешь, будешь здоровенькая да красивенькая, умненькая да добренькая...

Насытившись, дочка выпустила сосок, глубоко вздохнула и отвернулась. Я осторожно уложила ее в люльку, посмотрела на ее маленькое, чуть кремовое, спокойное личико, погладила, опустила марлевый положок и отошла, села к столу и так разревалась, такую волю дала своим переживаниям, что голову заломило. О встрече с Володей думала, что письмо его давнее нашло меня с таким опозданием. И приезд его... когда уж изменить ничего невозможно, да и надо ли чего менять? И кто знает наперед, где лучше и как именно поступить надо? Приехал, напомнил о своей любви, о чувствах, наобещал, что все будет хорошо. А откуда это хорошо возьмется? Ведь едет пока на новое место — временно, по распоряжению командования, а там... Как теперь говорят, посыпал соль на рану — и едет себе дальше. А я... я зачем-то вот плачу, горюю... Может, к лучшему — облегчу душу, и будем мы с доченькой жить-поживать да родителя поджидать.

Снова умылась, причесалась, тем временем чайник закипел. Чаю пить стараюсь много, да с молочком, чтоб побольше молочка у меня копилось. Вон она — поела и посапывает — сытенькая, сухонькая и до сердечной тоски родная и милая. Только принялась чай пить, кто-то негромко постучал, открыла — папа пришел.

— Оторвал от дела, или, может, отдыхала? — подсел к столу. — А ты вон чай пьешь! Вот и хорошо! Девушка-то спит, поди?

Я кивнула на зыбку. Помолчал маленько, я достала кружку, сахарок пододвинула.

— От чаю дак и не откажусь, и если не помешаю, то и посижу недолго у тебя, поговорим, подумаем.

Папа чай любил прямо каленый, самовар булькает, до крана дотронуться невозможно, а папе — в самый раз!

Папа кружку выпил, еще нацедил, переждал маленько и спросил:

— Больно горюешь, или как? Я про врача-то спрашиваю. За чем-то приезжал же? На войне-то не виделись — не довелось?

Я ему спокойно уже, даже вроде буднично рассказала, как в госпитале работали вместе, пожалуй дружили даже, как на войну мне написал, чтоб перевелась к нему в часть. Теперь вот приехал... Откуда ему было знать, что я уж замужняя, что первенькую девочку уж похоронили, вот вторая появилась, даст Бог, вырастет...

— А Витя приедет, вот помани мое слово. Переживет обиду, которая здесь на него свалилась, и приедет... Да и не только ведь на него: как пойдет, дак... Тебе уж скоро на работу, или как? Декретный-то отпуск, однако, кончится вот-вот?

— С понедельника, через три дня. А я пока никак не построю свое горе, все думаю, соображаю, как быть, как жить? Дров бы надо купить, пока сухие да не больно дорогие. Вон Володя оставил под чашкой пятьсот рублей. Я не просила. И не видела, когда он их туда положил, и ничего не сказал...

— Хорошо и сделал. Вот тебе на дрова-то и хватит. Говоришь, Иринку в ясли отдавать придется? Жалко девушку. Не знаю, какой уж там уход, догляд, питание. Меня, по правде сказать, больше беспокоит, чтоб болезнь какая там не пристала... Часто такое случается, как послушаю. И матери с двумя-то не совладать — она, бедная, и так уж через силу живет. Дал бы Бог, чтоб еще пожила, подольше... Как мы без нее станем? Пропадем. Азарий женится и отойдет. Вон Сергей-то и в городе, и не больно в нужде, а зайти попроведать никак, видать, время не выберет. Ну да ладно, как живут, пусть и живут... И Тоне не больно позавидуешь: попивать он и до войны любил, а теперь, после такого ранения, и вовсе бы об этом думать не надо, только едва ли это его остановит. А пить станет — грех в семье, удовольствие начнется... Я маленько покурю в дымоход, а лучше, дак на улице зобну раз-другой — и мы с тобой еще поговорим, побеседуем... С тобой разговаривать мне глянется — все понимаешь, никого не ругаешь, не жалуешься... А так-то я все больше молчу, однако, об чем только иной раз и не передумаю... и вспомню чего, и думаю, как бы вот тебе пособить, а чем? Возможности наши ты сама знаешь... А Толька-то, варнак, бойкущий растет и смысленный... Отец-то его вам не пишет? Да он и

никому не напишет — оставил свое горе на нас и живет где-то... Ну, его-то, Петра-то, я, признаться, ни понять, ни полюбить не успел, был — и не был... Одна и память: Калерия бедная в земле сырой уж третий год, и парнишке какая жизнь выпадет?.. Еще маленько покурю схожу...

А благодать-то какая на улице! Так и не уходил бы... Если погода устроится, дак скоро и сенокосить бы начинать надо... Говорил как-то с Азарием помочь управиться с сенокосом, а он... Софья, говорит, хоть и косенькая, зато наилучшая помощница на сенокосе!.. Болтун! То сказал, мол, назови срок-время — приведу двух дружков, и ты только промежки успевай считать... Иной раз гляжу на него: вроде парень умный, сообразительный, башковитый, иной раз понаблюдаю, дак невеселые думы появляются. Всех сподручней да исполнительней у нас Валька был, царство ему небесное. С малых лет к делу относился серьезно, с понятием. Вася дак мал был, на подхвате — сено ворошить да вытаскивать из кустов. Таська — девчонка, че с ее возьмешь? Да она и теперь не переделает. Азарий-то, пожалуй, пособит, глаза бы токо не разболелись... А вы уж с матерью тут домовничать станете, управляться на два дома, и корову обиходите, подоите... Подлей-ка еще горяченького — так хорошо нутро греет...

— Папа, у меня ведь и вина немного есть, может, выпить хочешь?

— Седни, пожалуй, не стану. Спать пойду. И ты спи, спице обе. Утро вечера мудренее. Так хорошо побеседовали. Да, Марея, ногти бы мне еще постригла — отросли, цепляться стали, неловко с ими.

Я осторожно, но и с тщательностью постригла отросшие, ломкие ногти у папы на руках и на ногах. Потом и бороду подровняла.

— Вот спасибо тебе, вот хорошо как обиходила меня. Дай Бог здоровья. Ну, оставайтесь с Богом! Сенки я сам запру, а изнутри закроюсь на крючок... мало ли.

В оставшиеся до работы дни я в лесничестве все-таки выписала дров, а конновозчик из «Швейника» привез. Хватило рассчитаться за все. Кое-что подготовила из одежды — для себя, чтоб на работу ходить. Груды располнели — подобрала что с застежкой спереди, где швы выпустила с боков, тогда запас делали приличный: по два сантиметра на ту и на другую сторону шва. Обувь — туфли и парусиновые босоножки — почистила. Только как быть с Иринкой — на кого ее оставлять — ничего придумать не могла. Поговорили с мамой, и она сказала, Таисья отпуск берет — вот пусть и водится с Толиком, а я с Ринкой-то как-нибудь управлюсь. Кормить прибегать станешь — недалеко, пеленок сухих да рубашонку оставишь. Мне ведь утром, пока с коровой, то да се — некогда, а днем-то посвободней. Когда

и в седухе посидит... ничего. За этим, правда, глаз да глаз нужен, но пока погода жаркая, дак он все больше в ограде, отец инструменты прибрал подальше, вертушку на двери в огород сделал выше, чтобы не дотянулся. Ничего...

Полина по-прежнему нет-нет да и забежит и однажды сказала, что через неделю поедет в командировку в Пермь, дней на пять. Тебе — спросила — ничего не привезти? И я попросила ее, если у нее будут деньги, то купила бы она мне плащ болоньевый — зонтика нет, да и с ребенком, если куда, то неловко, а плащ бы хорошо, да если с капюшоном.

Как-то нагрела я много воды, чтоб и Иринку выкупать, и кое-что постирать, и самой обмыться — корыто большое, и я уж приспособилась... После работы сразу забрала у мамы Иринку, накормила, перепеленала и поспать положила — до ночи еще долго. Когда девочка уснула, я взяла ведро и тряпку, переоделась в старенький халатик и пошла к маме — вымыть в кухне пол. Не успела дойти до маминого крыльца, слышу, кто-то окликнул меня, повернулась — посреди ограды, почти у наших сенок, стоит Полинка. Я ведро оставила и поспешила к ней:

— Здравствуй! — улыбаюсь ей. Она смотрит на меня как-то странно, будто меня и не слышит, только смотрит и смотрит. — Ну что, купила плащ? — спрашиваю и открываю дверь в сенки, чтоб проходила в избу. Она опять молчит и все смотрит, смотрит на меня, пронзительно так. — Ты чего так на меня уставилась? Будто век не видела. Я, правда, в таком виде... — оглядела себя, — к маме пол мыть собралась, уложила ребенка, и пока она спит, я управлюсь... По-ля! Ты что как остолбенела!

Она со значением кивнула на ворота ограды и тихо сказала:

— Маша! Марийка! Витя ведь приехал! Мы вместе... он там, за оградой... Марийка, ты же умница!

Я замерла на мгновение, приподнялась затем на цыпочки и из-за Полининого плеча увидела за оградой Витю! Но что это был за Витя?! Одни глаза. Лыжный костюм из фланели чертовой кожи табачного цвета, может, темно-зеленый — грязный, и сам Витя грязный, может, и на крыше даже ехал... Исхудавший до костей. Я рванулась, припала к нему, лицом уткнулась в грудь и глажу, глажу его по рукавам, по спине, а лица от его груди оторвать не могу, может, не решаюсь. Наконец переборол в себе большую радость, улыбнулась ему, как смогла, через силу, да и чтоб не расплакаться.

— С приездом тебя, Витя! Я рада... я так рада... я так ждала... Ну, пойдем домой, — рассказываю, что к маме пол мыть идти собралась, ну да это потом. — Иди, Витя! Да иди же...

Вошли в избу. Витя сел на табуретку, оглядел кухню, увидел ванну и чуть пожал плечами, затем стал снимать сапоги, курт-

ку. Я сижу на табуретке напротив, смотрю на него и опять — верю и не верю. Он умылся наскоро, утерся, заглянул под положок, кивком головы дал понять, мол, человечек спит-похрапывает!.. Помедлил, постоял над корытом и тихо сказал: «Может, мне помыться... хоть в корыте, хоть лишнюю грязь смыть...»

Я засуетилась, принесла из сенок ведро с холодной водой, показала, что горячая на плите, подала мыло, мочалку, полотенце. Из чемодана достала его чистое нижнее белье, носки, рубашку черную, косоворотку, достала брюки, расческу поближе положила. В зыбку заглянула — спит ли? Потопталась еще, и показалось мне, что он пережидает, когда уйду. Я и сказала, чтоб мылся пока, а я скажу маме, что сегодня уборка отменяется, и вернусь.

У мамы задержалась недолго. Она не то, чтоб сильно обрадовалась моему сообщению, что Витя приехал, но сказала: «Слава Богу!», спросила, здоров ли и есть ли чем накормить — с дороги ведь человек. Я сказала без раздумья, что еда найдется, что он пока моется, а Иринка спит... Пойду схожу за водой — горячей-то много, а холодной принесу — и ушла. Поставив ведра в сенках, как бы невзначай уронила коромысло, обругала себя за неловкость — это чтоб Витя знал, что я иду, никто другой.

Вхожу, смотрю, а он уж одевается.

— Ну, помылся маленько?

— Соскреб, чего смог.

— Ну, не все сразу. Завтра или баню истопим, или в городскую — как лучше, так и сделаем. Мне-то на работу, а ты, поскольку пока вольный казак, останешься за няньку. Или как?

— А я ведь еще и есть хочу, — с обидной дерзостью сказал он.

— И это дело поправимо: есть вареная картошка, лук, масло, даже огурчики... даже водочка!..

— Ничего ты!

— Гостя ждали, вот и дождались. Правда, с папой вечером вчера чуть не выпили по маленькой, да он, как знал: сказал, Витя приедет, тогда и выпьем. Прямо как знал! А я то подолгу не спала — все прислушивалась, а то... если девочка спит, я тоже... за компанию...

Между разговорами я вынесла в сенки грязное Витино белье и одежду — все выстираю в субботу; грязную воду ведрами вынесла к папиной табачной гряде — туда все идет, вынесла и корыто, поставила «на попу» к огороду, обдала кипятком из чайника и оставила просушить. Управившись с делами, вымыла руки, сняла фартук и стала собирать на стол. Посмотрела, а Витя уронил намытую голову на руки, сложенные на столе, задремал. Я погладила его по мягким волосам, поцеловала в макушку — он никак не отозвался, видать, крепко задремал: в дороге устал да помылся, как уж вышло.

Витя проснулся от детского плача, вскинул голову, увидел, что кормлю дитя. Я с виноватой улыбкой пожала плечами, мол, еще придется немножко потерпеть. Вот доченька напится, успокоится, и тогда будем ужинать и мы, чем Бог послал. А Иринка опять ела жадно, захлебывалась молоком, тискала грудь пальчиками и тянула, тянула живительное, питательное молочко. Я тихонько поглаживала ее по спинке и все смотрела то на нее, то на Витю, растерянного и умиленного, казалось, он даже не моргал, смотрел и слушал, как она, его дочь, Ирина Астафьева, хочет жить, потому ест аппетитно, без перерывов и даже ножонками вроде шевелить перестала... Витя дождался, когда дочка откинула чуть набок головушку, подошел и, всматриваясь в родное и пока еще совсем незнакомое личико, осторожно взял из моих рук и уложил в зыбку. Еще посмотрел, взялся за положок, опустил его и, поймавшись за очеп, заплакал...

Я не останавливала, не говорила, что разбудить ребенка может, повернулась к столу, уперлась подбородком в руки и тоже заплакала. Сколько это продолжалось — не знаю, почувствовала, как Витя обнял меня за плечи и затем сел напротив.

Мы оба молчали. Мы пока не знали, о чем говорить, ни о чем не спрашивали, не вспоминали, только время не стояло на месте.

Я стала расправлять постель, подушки положила рядышком так же, как когда-то, очень, кажется, давно, откинула угол одеяла, ладонями расправила простыню и, привычно легонько качнув люльку, вернулась в кухню, встретилась с Витей взглядом, сдерживая слезы, улыбнулась и кивнула на постель, что, если ужинать отдумал, то, мол, можно ложиться... отдыхать... спать... А я пока буду мыть посуду, убирать со стола, готовить сухие пеленки; расстелив одеялко на сухо протертом столе, сложила что куда, сходила за ванной, принесла еще ведро воды и стала ждать, когда дочка проснется, чтоб выкупать. Тем временем наредила картошки на завтра — завтра мне на работу, так чтоб успеть и ребенка накормить, и к обеду кое-что приготовить. И вдруг почувствовала глубокую усталость.

Витя сказал, мол, ложись, завтра я еду сварю, Иринку накормить успеешь и указания соответствующие дать тоже успеешь, ложись... И я легла... как по строевому уставу: голову прямо, руки вдоль тела, ноги как легли, так и лежали. Мы за всю ночь не сказали друг другу слова, не сомкнули глаз, глядя в потолок. Иринка спит хорошо, нет-нет да дернется люлька, значит, пошевелилась — большего ей сделать невозможно: тут запеленала, разве что в пеленки дела свои большие, маленькие ли сделать. Тогда она уж молчать не станет, как хмыкнет, а потом заревет, с ходу, без разгона и так будет требовательно и громко реветь, что не залежишься — надо вставать... Долго ждать не пришлось.

Пришлось вставать. На столе перевернула ее в сухонькое, смочив теплой водой угол незапачканной пеленки протерла дочку, уделавшуюся от пупка до пальчиков. Затем, прикрыв легким одеялом, склонилась над нею и, не взяв на руки, так и покормила. Она наелась, раскинула руки и так, в вольной позе, и уснула. Я ее подпеленала до пояса и тоже так, в вольной позе, и в люльку уложила. Замочила в тазу замаранные пеленки, поставила в сторону, чтоб утром не запнуться, и снова легла, опять как бы навтыяжку, замерла и стала ждать рассвета, ждать утра. А оно медлило отчего-то, не наступало, и я уж забеспокоилась, что усну в последний момент, когда вставать надо будет. А пока прямо как у поэта Полторацкого, переведенного с какого-то языка:

Парень с девушкой об заклад побились,
Что в одной постели на ночь лягут,
Но друг друга тронуть не посмеют.
Если только он ее коснется —
Пропадет конь пятисотрублевый,
А коли она его затронет —
Пропадет бесценное монисто.
Вот легли они в одной постели.
Парень спит спокойно, как ягненок,
А она, как рыбонька, трепещет
И, не выдержав, ему тихонько молвит:
Повернись ко мне, мой драгоценный,
Проиграла я свое монисто,
Так проигрывай коня смелее!..

Так и мы... Только мы не бились об заклад не дотронуться друг до друга, и проигрывать нам было уже нечего, даже наоборот... Я пораньше поднялась, привела себя в порядок, наложила полешков в «экономку», соль, масло, хлеб и заварку — все на столе оставила, а кастрюлю с припаянным дном в артели «Металлист» поставила на «экономку» сверху, чтоб прямо над огнем. Витя лежал, отвернувшись к стене, спал не спал — не знаю, а Иринка заворочалась, запыхтела сердито, значит, мокрая, значит, есть захотела. Взяла ее осторожно из люльки и, чтоб не заплакалась, не разбудила бы папку, на колени клеенку раскинула, дочку взяла вместе с сухой пеленкой и стала кормить. Она то потягивается — ручки-то на воле, то схватит грудь и ну тянуть-глотать молочко. В такие минуты я не раз думала, вот и сейчас тоже: какое это ни с чем не сравнимое чувство, когда ребенок сосет грудь! Этого не передать! Это надо пережить, переживать и чувствовать всякий раз. Это слияние двух кровно родных людей, таких нужных друг другу в тот момент, таких самых-самых.

— Ну, вот и все! — шепотом заговорила я с дочкой. — Теперь потерпи, пока приду на обед, и снова все будет хорошо. Не капризничай. Пеленки не мочи одну за другой — кто ж тебе перевернет, кто тебе поможет? Скоро папа встанет, позабавится с тобой, потом бабушка придет — попроведать, потом, может, папа и «дуло» перенесет сюда, как обогреет, устроит его на доску к забору, чтоб не шатнулось, и ты будешь сидеть в нем, поглядывать на травку, на небо, на птичек, а поездов, проходящих мимо, не бойся — они к тебе не подвернут, у них своя дорога... Ну, давай, поваляйся еще в своей зыбке или поспи. Я ведь не долго, а ты не одна...

— Ты уходишь? — поднял голову Витя. — Так и не поспала?

— Ничего. Не первый раз. Отосплюсь еще. Я тут, что можно, приготовила, позавтракай, а с Иринкой — сам не справишься, к маме унеси. Ну, я пошла. Я скоро...

На работе был день не очень чтоб загружен: перебирала папки, подшивала, что новое, хотела пройтись по ближним цехам, да Нина Ефимовна сказала, лучше это сделать в конце месяца, чтоб и остатки снять, и ревизии к тому времени проведут... Спросила, как дочка растет? С кем ее оставила? Я сказала, что вчера приехал Витя, может, управится, а нет, так... С местами, я узнавала, в яслях плохо и попросила: нельзя ли получить, сколько мне там причитается? Она узнала, сказала, что после обеда — много не обещают, немного дадут. А вообще, тебе, наверное, надо бы недельки две взять еще или в счет будущего отпуска, по графику он тебе полагается на сентябрь — осталось всего ничего, мол, можно оформлять и сейчас, если не решила оставить его на более позднее, более нужное время. Ты сегодня, мол, подумай, решишь вместе с Виктором, как лучше, а завтра или получишь какой-то остаток, не знаю, сколько там, или напишешь заявление на очередной отпуск. «Да-а!» — спохватилась она. — Я же все собиралась к тебе забежать, принести кое-что, да вот не собралась — мама в деревне очень заболела, и я часто вынуждена ездить туда. А это вот вам с Иринкой! Буду рада, если все окажется кстати! Ну, забирай все свои документы и в стол — никто не тронет, никуда ничего не денется. Может, — спросила, — заказать тебе платье из шерстянки, такая славная, голубая — недавно получили, и недорого — наши все заказали, и халат из штапеля — тоже расцветка славная. Зайди в цех, снимут мерку — оформляй заказ. И еще чего-то я хотела?.. Материал выписывают неохотно — доход же только с готовой продукции», — усмехнулась, мол, подумай, завтра скажешь, что и как. На прощанье даже чмокнула в щеку и пригрозила в шутку, мол, все равно приду, хочешь не хочешь.

Вдруг меня позвали к телефону. Нина округлила свои чернушие глаза, мол, кто и знать мог, что ты здесь?! Звонила По-

линка, поздоровалась и предупредила, что будет говорить кратко, о главном, чтоб ты имени, ничего не говорила, а только «да» и «нет». Виктор переживает очень, о том, как ты его встретишь. Мол, если бы на белом коне — то и разговор, и обстоятельства другие, но если Мария хоть словом, хоть намеком начнет меня попрекать, мол, такой-сякой, оставил-бросил, и вообще, — тут же повернется, и уж более она меня никогда не увидит!..

— Спасибо! Хорошо! Всего доброго! — успела я сказать, и Полинка тут же положила трубку. «Вон, оказывается, в чем дело! Вон отчего все! Да Господи!.. Да разве б я могла?..» Вдосталь наплакавшись в поповском — поп с попадней когда-то жили в углублении улицы — тупике, так сказать, потому что переулок, прибранный, неширокий с обеих сторон, за палисадниками зеленые развесистые кусты — я, задрав голову к солнцу как бы, поспешила домой.

Сенки не заперты — может, мама зашла или папа, может, Витя ушел? В избу дверь тоже открыта, прямо распахнута. Заглянула за шторку, как бы из кухни в комнату, и вижу, как Витя смешно и с нежной осторожностью возжается с малюсенькой дочуркой...

— Ну, как вы тут? — с улыбкой спросила я и с ходу к умывальнику — мыть руки. Вымыла, сама умылась, переоделась в халат и туда, к ним, где двое, там и третий... Поцеловала Витю, кивнула заקהкавшей Иринке, спохватилась, вернулась за гостинцами, положила на стул и еще раз, уже крепче, поцеловала Витю. — Я так рада, как дура!..

— Почему «как»? Ты и есть дура!

Я растерялась и почувствовала, как обида подкатила уж к самому горлу, прислонилась к косяку — что еще мне мой милый муж скажет?

— Да потому, что тебе бы бить меня надо, гнать в три шеи, в глаза бесстыжие наплевать, а ты — рада...

— Витенька, да что с тобой? Успокойся и расскажи, раз не терпится сдержаться или... — едва слезы сдерживаю, на ребенка поглядываю, а она уж ножонками сучит, ждет, когда на руки возьмут, когда кормить будут. Расстегиваю пуговицы, изготавливаюсь и к тому, что сейчас доченька есть будет, а еще больше — чем же и за что меня Витя еще побольнее ударит...

— Ты пока кормишь, я в ограде посижу, подумаю, на природу полюбуюсь, я недолго, пока кормишь...

Я взвыла по-бабьи горько и тут же уняла себя — мне же дитя кормить... чтоб спокойненькая росла, значит, и самой... Положила Иринку на широкую постель, распеленала, погладила, поцеловала и в ручки, и в ножки, она ручонками за волосы мои ловится. Когда отдохнула от свивальника, попотягивалась, я ее

уж и на животик ненадолго положила — головку держит хорошо, крепенькая растет, слава Богу, завернула в легкую пеленку, клеенку на колени подложила — и мы принялись за дело.

Скоро пришел Витя, спросил, как дела? Сказала, что поела, вот понежится еще маленько, может, срыгнет — жадно ела, едва успевала сглатывать молочко, — тогда и запеленаем, чтоб молочко все на пользу пошло, в кровушку впиталось, после можно и в седуху.

— В какую еще седуху? — изумился Витя.

— В «дупло» специальное — в нем ей хорошо: и посидит, и привстанет, и все, и всех ей видно, и ее тоже все видят — на народе веселее. На, положи ее пока в люльку, а я за седухой схожу. — И оставила дочку с отцом.

Она лежит, пустышку то бросит, то ищет, папа ее покачивает и, слышу, тихонько напевает: «Солнце скрылось за рекою, затуманились речные перекааты, а дорогою степною, шли с войны домой советские солдаты...» Песня вроде вовсе не подходящая, а девочка под ту песню засыпать уж начала.

— Маша!.. Ты слушай, смотри мне прямо в глаза и отвечай, что и как? Но чтоб безо всяких обиняков, напрямую, как было, так и скажи...

Я поспешно села за стол, напротив Вити, жду, жду, как приговора, Потому что самой мне оправдываться не в чем, и я скажу обо всем, как на духу.

— Маша! Ты действительно меня ждала? — Помолчал. — Ты действительно верила, что я приеду? — Покусал губы, швыркнул носом. — Ты действительно меня любишь? Не возненавидела?.. Чего молчишь?

— Жду, чего спросишь еще?

— Я все спросил! Главное! И я, когда ехал, то твердо для себя решил: если ты меня упрекать начнешь, унижать, может, и прогонять... Уеду. Ни на минуту более не останусь... Если б я вернулся, как говорится, на белом коне — тогда и надобности в разговоре не было бы. А сейчас мне очень важно знать, как ты ко мне относишься? Или, презирая, прощаешь, снисходительность проявляешь... А мне все-все надо знать. Сегодня же. Сейчас.

— Витенька! Раз ты вернулся ко мне, к нам, значит, мы нужны друг другу. Значит, очень нужны. И люблю я тебя еще больше... Это все, что я хочу и могу тебе сказать.

Витя какое-то время, не знаю, сколько, окаменело сидел за столом, ничего не говорил, ничего больше не спрашивал. Затем тяжело поднялся, обошел стол, остановился передо мной, покачался легонько и со всхлипом сказал:

— Спасибо! Спасибо тебе, родная моя, многотерпеливая моя жена! — Опустился на колени, положил голову мне на фартук и,

легонько ее покатывая, со взхлипом все повторял: — Спасибо! Я этого не забуду... Я верю. Спасибо за дочку, спасибо за терпение, спасибо за любовь твою, такую самоотверженную!.. Спасибо...

Папа очень обрадовался приезду Вити. На другой день вечером, после того, как мы немного очнулись от нашего нелегкого, но, как оказалось, неизбежного с Витей объяснения, папа негромко постучал в дверь, вошел, заулыбался, оглаживая усы, подался к Вите, чтоб поздороваться, может, и обняться, почти следом зашел и Азарий:

— А-а, вот вы где! Ты чего же, Виктор, приехал и глаз не кажешь? Шурин я тебе или нет?! — Чуть отгеснив папу, пожал Вите руку, обнял, отстранил от себя, снова крепко обнял, папу за чем-то по плечу похлопал, как дружка, увидел меня и тут же: — Я тебе чего говорил, помнишь. Помнишь, чего я тебе говорил, Маша? Говорил, что Виктор скоро приедет. Говорил? — Потряс меня за плечи, обнял накоротке. — Вот и замечательно! Ну, замечательно, ничего не скажешь! Маша, а у тебя пропитанье на такой случай какое есть или... или мне к Софье — туда-сюда, обратно?.. Давайте так, — начал распорядиться брат. — Ты, Маша, ставь варить картошку. Я к Курковым наведаюсь насчет десятичка яиц, может, и огурчиков. У меня вот мерзавчик есть, лук зеленый на гряде — овощ хорошая! Может, чего у мамы найдется? Нет, надо к Соньке — у нее наверняка найдется... — и исчез.

Витя наколол помельче полешек в «буржуйку», начал картошку чистить, а она свеженькая, и чистить-то одно удовольствие. Папа сказал, что луку нациплет да матери скажет, чтоб пораньше с коровой управлялась да с нами тоже посидела. «До Клавы с Ваней далеко, до Сергея и того дальше, — с горькой улыбкой молвил папа. Ну да не в последний раз». Тесть с зятем разговаривают да на кухне хлопочут, я за занавеской с ребенком занимаюсь: распеленала, сухонькое подложила, подтыкала с боков и оставила повалиться на кровати, накиннув старенькую пеленку. Слышу, Толик забежал, громко, с порога заявил, что они с бабушкой корову встретили, сейчас ее доить будут, а она будет мычать и хвостом махать... «А где маленькая девочка?» — спросил и тут же в комнату, но я его перехватила, велела принести сухие пеленки, они в ограде на веревке висят...

Азарий явился довольно быстро, принес булку хлеба, кружок колбасы, еще одного мерзавчика, конфеток и метра два пестренького ситчика — Иринке на рубашонки. Картошка бурлила, вскипая пузырями на раскаленной «экономке», Витя крошил лук. Скоро пришла и мама, принесла литровую банку парного молока. «Это тебе, — обратилась ко мне она, — к чаю. Больше

станешь пить, больше молока в грудях будет». Из фартука, который держала за уголки, выложила на стол ровненькие пупыристые огурчики. Поворковала маленько... Пока я кормила да пеленала дочку, на столе уж было почти все собрано. Азарий принес из дому ложки да стопки, да блюда вместо тарелок. Витя сберег как бы место для меня рядом с собой. Места всем хватило.

— Ну так что? Выпить, однако, полагается? — весело спросил Азарий. Налил помаленьку в стопки водки, расставил перед каждым. Толе дали длинненький огурец со срезанным кончиком, и он его держал как стопку. — Давайте сначала... — помедлил, — сначала помянем братьев Валю и Толю, Васю, помянем сестру Калерию, племянницу Лидию... Помянем. — И первый отпил из стопки, остальное как бы вытряхнул на пол.

Все выпили помаленьку, мама чуть глотнула, отодвинула стопку, утерла глаза и снова перекрестилась на маленький обрзок, висевший в кухне. Затем выпили и за Иринку, и за нас с Витей, и за папу с мамой — разговорились. Папа о сенокосе, что теперь управятся, вот еще одного помощника Бог дал! И на Азария посмотрел. «Если все ладом... не всякий же раз из-за неосторожности человека калечить... — с многозначительностью договорил он, напомнив сыну, как он прошлой осенью Виктора лесинной ошпентил... — Может, и без чужих еще обойдемся?..» Я сказала, что разрешили очередной отпуск взять, значит, месяц еще буду дома, и нам с мамой будет полегче, и в огороде, и по дому. А Азарий снова за свое, мол, Софью-то брать придется — пусть работает, проявит себя, а то и замуж не возьму! — хихикнул. — «А если серьезно, то прошу назначить день и час».

Тут уж папа вступил в рассуждение, поговорили недолго, порешили, когда дело начинать, и папа сказал: «А теперь и отдыхать бы надо расходиться, и им отдых нужен. Значит, ты, Витя, маленько повременно устраиваться на работу, отстрадаем и тогда... Так-то сам, конечно, гляди, как лучше, но страдаждать не станет, а без сена, без коровы как жить? Ну, решайте, как лучше. Спасибо за угощение. Так хорошо посидели, поговорили... Спите с Богом!» — и направился к двери. Мама заглянула в люльку, незаметно перекрестила внучку.

— Спасибо, Витя! Спасибо, Мария! Спите с Богом!

Брат, глядя вслед родителям, пожал с сожалением плечами, пожал руку Вите, сказал:

— По домам, так по домам. Пока!

То был редкий, пожалуй, год, когда так хорошо управились с сенокосом. Николай Ефимович Смирнов — грамотный, справедливый и не очень мягкий человек, работал в поселке Узкие водо-

замерщиком, но и за порядком следил: кого полюбит — полное к нему уважение и расположение, а уж кто не очень к душе, к тем и крутоват бывал, и спать на сеновал отправлял, несмотря, что комар съедает. Он и в баню-то не каждого ночевать пускал, чтоб не спалили ненароком. Но у папы было там свое определенное место для сна, самое хорошее к нему и уважительное отношение.

Сено приплавляли благополучно, договорились с попутной порожней машиной и привезли домой, свалили в ограде, плоты разобрали, сложили на берегу, скрепив крученой проволокой, до поры, пока удастся с кем договориться, чтоб их тоже привезти к дому, пока кто не позарился, да не растаскал — брёвна сухие, добрые... А у Вити рассказов было — с утра до вечера. Сначала он удивил моего папашу тем, что набрал много ягод, черники, да такой кисель заварил — язык проглотишь! Папаша, говорит, вроде с недоверием поглядел на этот кисель, а как попробовал, так и заахал и так уж стал хвалить своего молодого зятя, что даже Николай Ефимович не удержался, хлебнул раз-другой, покачал от удовольствия головой, на Агафоновича поглядел, на меня — на зятя — и позвал Анисью Семеновну:

— Иди-ка, иди-ка сюда, на-ка, попробуй! Да и учись, как люди кисель варят! И как ты его такой сварганил? — спросил он у Вити.

— А я, — рассказывает Витя, — пожал плечами да и говорю, что варят же щи из топора!..

— Х-хэ, дак то топорщице! То байка! А кисель-то, вот он, ешь знай, успевай!..

Анисья Семеновна подошла к столу, взяла кастрюлю с киселем и унесла.

— Сначала поужинайте! Уха вон готова! Огурцы с редиской да с луком! И каша овсяная есть. А кисель уж напоследок...

Витя рассказывал, как он долго после сидел на берегу красивой реки, слушал, вниз глядел: вода прозрачная, каждый камешек видно, и глубина порядочная. Смотрел на противоположный берег, где завтра надо будет выбирать, пилить да сталкивать на берег лесины — для плотов. Лес хороший стоит, пока вроде и не тронутый, но это, наверно, пока тут Николай Ефимович хозяйничает. Его все знают и побаиваются... А птицы поют! А земляники по-за огороду! Пожалел, что меня не было: вот бы потешились, да и Иринка помусолила бы, пооблизывалась... Девчонка, не изурочить бы, такая крепенькая да миленькая...

— А на другой день зато я уж от Николая Ефимовича получил сполна! Утром рано переправился на тот берег, лодку под скалой учили, забрался в гору и быстро подобрал с десятка лесин, ровненьких, не пустотелых, сухих. Вышел на берег, два пальца в рот да как свистнул — Азарий, ровно на крыльях, вы-

летел: он ждал моего сигнала и был наизготовке. Скинул рубашу, штаны, обмотал ими голову и пустился вплавь. Любо-дорого даже глядеть, как он хорошо, податливо плыв. Его вроде даже и течением не сносило. Вышел на берег, отряхнулся, оделся, лапти старые в лодке углядел, подбоулся, чтоб ноги не шибко кололо да царапало, — и ко мне.

Мы с шурином-то быстро сработались: ширк-ширк, ширк-ширк, и дерево, как подкошенное, — это он так определил. Время идет, мы ширкаем, деревья валяются. Слышим, обедать зовут. Подумали, подумали, да и решили сразу и сучья обрубить, и вершины опилить, да и вниз — своим ходом. Которое легко, без запинки достигает берега, иногда и до самой воды, которое застрянет, значит, надо следом слать другое, чтоб вместе вниз отправлялись. Хорошо так дело идет. Вернее шло, пока одно не пошло по «руслу» нашему, уже накатанному, а наскочило вершиной на выступ скалы, встало торчмя, постояло, покачалось, да как ухнет! Да прямо на лодку — и носа у лодки как не бывало! Азарий замаха- руками: «Ах, ах, чего теперь будет?! Ах! Ах!..»

Я тоже знаю, что ничего хорошего ждать не приходится, однако, когда Николай Ефимович, вволю наматерившись, погрози- лся, что никакую лодку за ними не пошлет, — там и кукуйте! — махнул рукой и подался к дому. А мне только того и надо: делаю Азарию знаки, чтоб к лодке подбирался и побольше груза на корму набирал. Груз да мы вдвоем — вздымаем нос и, если не зачерпнем кормой, то и переправимся. Едем по реке и только что песни не поем: нос задрался высоко, как парус, а мы сидим на дне лодки в корме и гребемся изо всех сил так, что лодка не плывет, а летит!

Только выбрались из лодки на берег, Николай Ефимович уж тут как тут — и с новой силой отменными матюками поливает нас. Я слушал, слушал, тоже стал выдавать такие матюки, что и самому смешно и страшно!

Ужинали молчком, ни про кисель вчерашний не поминали, ни про лодку, хлебали щи, хрустели луковым пером, пили чай, потом курили на крыльце да на чурбаках на берегу. Николай Ефимович снова сокрушался насчет поломанной лодки, и я не выдержал, сказал, что не первую нарушил, но не первую и чинить буду, раз виноват. Хотя вижу — дело не шуточное, да если тесин подходящих нет...

Когда приплавляли сено и вывезли домой, папа сходил в церковь к обедне — так уж давно повелось, вечером выпили маленько, угостились и с чувством исполненного долга разошлись.

Однажды Витя повстречался с Вахмяниным — заведующим артелью «Металлист», с Витей он уже знаком. Разговорились о том, о сем, и, когда Витя заговорил, что надо бы на работу устраиваться, да пока ничего подходящего нет, тогда Вахмянин предложил ему устроиться в артель, теперь уж слесарем. Зарплата ничего, карточки хлебные и продовольственные — тоже, мол, поработаешь сколько, а подходящая работа подвернется — держать силой не станем: рыба ищет, где глубже, а человек, само собой, где лучше. Витя проработал в артели год. Работа, конечно, не по нему, но пока дело безвыходное. Меня тем временем невестка — жена брата Сергея, ведавшая городским радиовещанием, — пригласила работать к себе, мол, грамотная, времени будет свободного побольше и информашки писать сможешь, только чтоб без халтуры, чтоб знала, что и о ком пишешь, мол, обслуживать будешь железнодорожный узел, там и передовиков производства много, и всяких новшеств. Короче, переводом я перешла работать на радио. К тому времени у нас уже появилась няня Галя — в «Швейнике» работала ее родственница и вот порекомендовала. Она, говорит, в семье не одна, да только вроде падчерицы ее содержат, те сестры — девки как девки, а эта, за то, что некрасива: зубы как крупные клыки, вперед подались, что и рот не закрывается, глаза навывкате, а так-то девка добрая, услужливая, да если еще почаше хвалить, — она же сама как ребенок! — так няни лучше и искать не надо.

И правда, Иринка к ней сразу привыкла, даже привязалась, и гуляла Галя с девочкой много, и в чистоте всегда содержала. Бывало, приду на обед, Галя стирку развела. Иринка сидит на табуретках, составленных в ряд между столом и заборкой, а на столе перед ней чего только нет: тут и ложки, тут и пузырьки из-под лекарств, тут и крышка от чайника. Иринке весело, а Галя стирает — брызги до потолка, рот распахнут в улыбке, глаза ласково-преданные.

Витя вечером снова начал вспоминать, как они плавил с папашей сено с покоса по реке. И Галя тут же — любила слушать, о чем говорят, чего не поймет — переспросит, а уж если чего веселое — смеется как дитя, громко и во весь дух, как говорится. А Витя рассказывал, как папа проверял вбитые в бревна плотов огромные гвозди. Уж я, говорит, вгоню тот гвоздь — шляпка вопьется, а папаша все равно наклонится, поглядит и хоть разок да тюкнет по тому гвоздю... Я сначала вроде в осержку, ну, в недоверье, за обиду это недоверие к моей работе принимал, пока Азарий не пояснил, что он, мол, всегда так. Анатолий и Сергей того глубже гвоздь в бревно вгонят, а он все равно хоть разок да стукнет. Потом папаша мой растерялся, когда я по-своему распорядился, как плотами управлять: где ему быть, где мне. С не-

доверчивостью слушал и глядел на меня тесть, но спорить не решился. А до этого я уж знал, — продолжал Витя, — что он, папаша, сколько лет по реке сено плавил, ни разу еще не бывало так, чтоб не измочился, не набродился, да еще в студеной воде. И, слушая меня, очень даже сильно сомневался. Сидит, говорит, он в носу первого плота, покуривает — дым из его большой цигарки, как из самоварной трубы, и я, — говорит Витя, — время от времени ему напоминаю, чтоб сидел, отдыхал, наблюдал и ничего не предпринимал, пока я сам не скажу. Сидит, попыхивает, потом маленько приподнялся на колени да и говорит мне:

— Витя-а! А впереди, уж скоро, такой... перекат будет! Ухо востро держать надо!

А папа же никогда в жизни не матерился, а тут вот, насчет переката как заговорил, так и обозвал его матерным словом и обозвал как-то ласково, по-детски вроде. «А я как захохотал — на всю реку — эхо от скал отскакивает! И благополучно, спокойно я управился с плотами на этом перекате. И папаша с той поры меня очень даже зауважал!» — хохочет Витя, вспоминая об этом; Галя тоже заливается, Иринка нос морщит, аж сопилки блестят, будто тоже чего смыслил.

Я, бывая на станции каждый день — мой же участок, — по цехам хожу, с мастерами, с рабочими разговариваю. Особенно любила заходить в вагоноремонтный цех — там всегда так хорошо стружкой пахнет, свежей, сосновой. Разговариваю как-то с мастером Бортниковым, что вот муж все работу подходящую подыскивает, хотя бы временную, — легкие слабые, а в слесарной мастерской шум, гам, пыль металлическая, помещение темное да холодное, неприятное...

Витя, может, от меня послушав про тот цех, может, с кем из знакомых разговорился, объявление ли прочитал, что требуются плотники... Не помню, как и когда именно это произошло, но Витя мой перешел работать в то вагонное депо, плотником. И поначалу, видать, все шло ничего, летом — благодать, зимой холодно, но можно забежать погреться.

Я получила — выкупила — по талонам мануфактуру, взяла шесть метров полотна на простыни и три метра кальсонного полотна — гринзбона, чтоб сшить Вите кальсоны. Я их никогда в жизни не шила, но решила просто: распорол одну штанину старых кальсон — по ней выкроила, с припуском — на швы, да мало ли где понадобится пошире сделать. Старые кальсоны зашила — по готовому-то трудно ли, а мама сказала, мол, пользуйся пока машинкой, все равно она без дела стоит в спальне. Один вечер сметывала да прикидывала, на другой день — Галя с Иринкой занимаются, иногда играючи и стирают: Галя — белье, Иринка — куклам платья...

И к вечеру я дошила изделие, петлю прометала, пуговицу, хоть и не очень подходящую, но пришила крепко. Раскопегарила утюг, нагладила, повесила на спинку кровати, за подушки, чтоб утром завтра, когда будет собираться на работу, — выдать. С Галей договорились пока помалкивать об обновке.

Время идет, дело молодое, Иринка подрастает, Галя помогает. Мы уж с десяток книг приобрели. Витя в простенок, между заборкой и окном, струтаную дощечку подобрал, прикрепил ее к стене, я скатерть довязала, осталось кисти приделать да стол заиметь, пока же у нас тот, списанный, который привезли из горпромсоюза, был кухонным, а в спальне стояли две кровати и между ними втиснута тумбочка — больше туда ничего не вошло. Значит, лежать ей до лучших времен, однако, иногда, сложив ее вдвое, накрывала тумбочку, и она украшала комнатку.

Дело молодое тоже соответствует своему назначению, и когда я почувствовала, что скоро у нас появится второй ребенок, Витя мой перешел из плотников в горячий, литейный цех — там зарплата больше, там продовольственные карточки существенней. И это не все — недалеко от станции располагалась школа рабочей молодежи, и его убедили, что надо учиться, ну, хотя бы среднюю школу закончить...

Тут я вернусь к обновке, приготовленной для Вити, чтоб ему не так холодно было работать — телогрейка греет, а выносившиеся подштанники да сверху мазутные штаны не очень соответствовали холодной погоде. Стал утром собираться наш работник на работу, до которой надо отшагать побольше трех километров по железнодорожной линии, время от времени сворачивая в снег, уступая дорогу поездам с длинными составами, а то и снегоочистителям, от которых ни укрыться, ни спастись — все равно закидает-запорошит снегом по макушку.

Я с работы пришла пораньше, Галя уж картошку сварила, натолкла, я тесто замесила. Иринка бродит по-за столом на скамейках, тянется к муке, к картошке, но это для нее все еще еда не еда, а как дотянется до меня, вцепится ручонками и тянет: «Надо! Надо!» Ну, надо так надо. Мою руки, забираю ее на колени и, как малюсенькую, продолжаю кормить грудью, хотя самое меня уж ветром вроде качает... А она насосется тепленького молочка, и снова весела, здорова и играет себе.

Вдруг вихрем влетает в избу Витя, никого и ничего не замечая, хотя зрячий глаз сверкает прямо на пределе. Не остановившись в кухне, пролетел в спальню и через совсем короткое время белой, скомканной птицей вылетает в кухню новенькие кальсоны, а вслед за ними матюки, один крепче другого, и, когда первая, пулеметная очередь отстрочила, сделались понятны слова, которые он выпаливал:

— Сама носи!.. Сама сшила, сама и носи! Всю смену... ни поспать, ни поспать, хоть в штаны накладывай да домой неси...

У нас с Галей застопорилось дело с варениками, я от обиды губы кусаю, чтоб не разреветься. А огрызнуться, накричать на него, ответить руганью я ему никогда не могла и не могу до сих пор... У меня наперед обиды, наперед желания огрызнуться — тут же на память: он же в детдоме рос, он же сирота, он же столько раз ранен — нет, не могла и не могу я ответить ему криком или руганью. Слов нет, пройдет время и иногда, как говорится, за мной не пропадет — я тоже выскажу ему при крайнем случае, уже «обкатав» каждое слово, как камешек, чтоб ответно и убедительно и чтоб ему нечем было крыть. Но это не всегда и тем более не по всякому поводу. А тогда...

Витя еще долго ворчал за занавеской в комнатке, переодевался, умывался. Пока он умывался, я те кальсоны из гринзбона затолкала куда подальше, а Галя все еще живот поджимает, все еще смех в себе не может остановить. Вышел Витя наш из закутка, утирается полотенцем, долго утирается, тщательно и незаметно наблюдает: какого он шороху на нас напустил — долго помнить будем! Иринка руки к нему тянет — она наш маленький громоотвод! Он ее взял, потормошил, приласкал и неторопливо, спустив пары, сел за стол. А на столе уж вареники дымятся, масло в блюдечке, перед каждым тарелка и вилка, а перед Витей — стакан и ковш пенящейся ароматной браги.

— Вот это другое дело! Это тебе, — обратился он к девушке, — это тебе не кальсоны, у которых единственная пуговка — и та выше пупа, а ширинка — одно название...

— Витенька! Я же по старым кальсонам шила!

— Витенька! По старым... По своим, небось, которые еще не истратила девке на пеленки! А я — мужик!..

Галя хохочет-взвизгивает, покраснела, закроет ладошками лицо да пуще того хохочет...

Тринадцатого марта 1950 года у нас появился Андрюша — братик Иринкин. Я и его рожала в железнодорожной больнице. Домой нас привезли на лошади, хорошо так, все смотрят, улыбаются, но как только поравнялись с парадным подъездом горсовета, возьми да и выпади из сетки банка с вареньем, крышка спала, а варенье так и сделало дорожку к казенному крыльцу, где опустевшая банка остановилась. Ну, посмеялись, махнули рукой и поехали домой. Не прошло и двух дней, может, трех, я лежу с парнишкой за занавеской на кровати, кормлю, Витя сидел у окна и вдруг говорит-спрашивает:

— Это куда же наши учащиеся подались?! Чуть не всем классом!

Не успел удивиться, а компания вся подвернула к нашей избышке, и гуськом заходят, посмеиваются, с шутками, с прибаутками, с бидоном пива, с подарочками... Расселись кто где: и на подоконниках, и на полу, громко по-молодому разговаривали. Вот сказала «громко разговаривали» и тут же вспомнила: когда мы жили в Перми, сосед за стенкой почти десять лет готовился в консерваторию и играл на пианино с утра до ночи — чего-то играл уже прилично, чего-то уже «заболтал», но играл, играл, и чем дальше, тем громче. Приходит почтальонка, боевая такая девица, звякнула к нам, чтоб расписались за бандероль, и пока я ходила за ручкой, она слушала, как сосед играет. Я расписалась, она неожиданно спросила: «Кто это играет так?» — «Сосед». — «Женатый?» — «Нет, холостой». Она глаза вытаращила и переспросила с недоумением: «Не женатый и так громко играет?!»

Так и молодые рабочие из цеха литейного, где работает и Витя, и многие из которых вместе с ним учатся в школе рабочей молодежи. Вот уж воистину: «Бедность — не порок». Засиделись, наговорились, о чем говорили, вроде и не вспомнить, но душу отвели... Витя был в классе старший, да к тому же женатый, да к тому же уже дважды отец. И он выделен был вниманием, уважением и снисхождением, когда не был готов к уроку. Он приходил с работы усталый, успевал поесть, переодеться и снова в школу. «Учись, грызи гранит науки — он счастья будущего ключ!» На тот ключ и надежда... Ест хоть и не очень вкусно, но сытно, я нет-нет да перед ним ковшичек бражки. Он его примет, оживится, на время забудет усталость и отправится. Однажды учительница — проходили «Степана Разина» — кого ни спросит, все уклоняются, чего-нибудь поговорят, два-три слова, и все. Тогда она обращается к детному отцу: «Виктор! Может, ты расскажешь про Степана Разина?» Он, уже затяжелевший от бражки-то да усталый, не враз расслышал, что его, оказывается, спрашивают. Поднялся, извинительно оглядел и учительницу, и учащихся и признался: «Я, Вера Афанасьевна, лучше спою про Степана-то Разина...» — «Нет-нет, петь не надо, Виктор. У нас урок...»

На полке-досочке еще прибавилось несколько книг, и Витя часто разглядывал корешки, названия книг, иную открывал и сожалел, что не удастся выбрать время почитать. А тут еще Толик принес из садика конъюнктивит, да такой жестокий, а поскольку с Иринкой они играли вместе почти постоянно, то и на нее тот конъюнктивит перешел. Бедная девочка не могла даже глаз открыть — не глаза, а красные, блестящие луковицы. Одним утешением для Иринки да спасением была зыбка, которую еще не успел занять братик Андрей — оберегали его от этой болезни уж не знаю как. А Иринка лежит в зыбке вниз лицом, подогнув

под животишко ножки, и требует, чтоб ее качали, да еще и напеквали. И мы по очереди не отходили от зыбки, сношу ее в больницу, введут капли под веки, она верещит почти всю дорогу, пока я впробеге с нею, завернутой в одеяло, не добежу до дому. Дома раздену, сменю трусишки, если от боли или от крика она пустит струйку, укладываю в зыбку и пока крошу крошечки хлебушка в молочко, какое-то время молчит или к груди тянется. Но она же уж большая, молочко нужно братику, и я, пользуясь случаем, отнимаю ее от груди. Кормим, кто свободен, ей же нравилось больше, когда кормит папка. Она лежит сверху личиком с открытым ртом, пока ей с ложки еду не дадут, ногами топотит, требует, чтоб качали, и не только качали, но еще и пели. У Вити это получалось хорошо: ногу засунув в петлю, покачивает зыбку, ложкой из кружки черпает тюрю, в рот ей дает и припевает... Иногда упадет крошка мимо, она нашарит ее на подбородке, сунет в рот и давай помогать раскачиваться, да пищу принимать дальше, пока не насытится и в сон ее не поведет...

Миновала и эта печальная беда — нет хуже, когда ребенок болеет, лучше бы, думаешь, сам. Иринка выздоровела даже раньше Толика.

Вот и август на исходе, и день рождения моего остался позади, зато впереди бабье лето! А конец августа я больше всех других времен года люблю, и не только потому, что двадцать второго августа я появилась на свет, а двадцать четвертого меня уж и окрестили и нарекли Милей-Марией, Машей, Марусей, Маней... Мне нравятся темные и еще теплые августовские ночи, мягкость в воздухе, в душе уже поселяется светлая печаль:

В эти ночи всегда грусти больше, чем радости,
Когда в поле трава устает зеленеть,
Так бывает всегда в эти поздние августы:
Небо в виде тумана приходит к земле.
Небо в виде тумана на землю ложится
И, обняв горизонт, до рассвета гостит.
И смолкает земля, и смежает ресницы,
И, уткнувшись в потемки, о чем-то грустит.

Именно в эту пору, чуть позднее, по решению горисполкома, как я полагаю, почему-то понадобилось снести два дома — наш и Фефеловских, которые жили с нами в близком соседстве, прямо за ручьем. Тут уж было над чем задуматься. Папа редко когда давал советы житейского масштаба, более значительные, чем по мелочи, по хозяйству, но когда дело касалось чего-то серьезного, отчего многое зависело в жизни, тут он был всегда очень нужным, доброжелательным и справедливым совет-

чиком. Он по-прежнему частенько и долгонько сиживал у нас вечерами, уработавшись за день, натрудив руки и спину, до ночи еще оставалось время, приходил к нам, чай пил с нами под разговоры. Прежде он говорил, мол, с тобой, Марей, мне глянется беседовать. Но когда появился Витя да раскрылся в родственном знакомстве, папа полюбил его разговоры, слушал с вниманием и интересом его рассказы, будь они байки, смешные или серьезные. А я уже в ту пору, и позже, и пока он будет рядом — не перестану удивляться, восторгаться, немножко про себя завидовать, как он много знает, а то, как рассказывает — по-моему — это больше, чем мастерство!

И когда нам вполне уже официально было сообщено, что дом наш подлежит сносу и что выделен участок-усадебка, но если не понравится, то мы можем выбрать под дом другое место, только это будет уже где-нибудь на окраине или в Новом городе, где пока строятся квартиры только для рабочих-металлургов, но строительство не стоит на месте, оно продолжается и, возможно, со временем... А мы никак пока не можем выбрать-ся из нужды, и дети маленькие, и в углы дует, и в подполье постоянно стоит вода, и крыша протекает все больше.

— Я уж не успеваю подпорки ставить, чтоб наша хоромина не завалилась в канаву вовсе, вместе с нами... — вспльщиво заявил Витя и скрылся за занавеской в комнате.

Папа погладил колени своими крупными, изработанными руками, оглядел избушку, подбежавшую Иринку взял на колени, прижал к груди, по головке погладил, в окно посмотрел и сказал:

— Жилье, конечно, незавидное, кто станет спорить. Но самое трудное, бесприютное время в домишке пережили, а век — он не простой, да не на век строен... Я уж не раз думал: дров за зиму уходит много, тепла нелишка, и дело не токо в печке, хотя и она некорыстная... — Папа долго молчал, держа на коленях внуку, здоровенькую, эгозистую, очень им любимую, Витя из комнаты не выходил.

— Я, Витя, на той неделе сходил туда, на то место, которое можно занимать под дом. Место не шибко удобное, возле самой дороги — пыльно будет и для ребятишек небезопасно... Огород большой, только опять же, длинным клином уходит вверх. Но место сухое, и вода есть недалеко — у Ленинских яслей есть колонка, а подальше — дак и ключ.

Я уж думал, если бы и не сносили эту избушку, все одно перебирать бы ее пришлось, нижние два-три венца менять надо — вовсе сгнили, крышу хоть как, дак перекрывать надо, она уж ровно решето... Сергей в лесничестве работает, лесу, думаю, выпишет, заявление только написать надо, указать, сколько кубометров. Место сухое, дак думаю, и без фундаменту каменного

можно обойтись. Косяки и рамы Сергей Андреевич изладит. У них сосед баню, избушку ли рубить собрался, да уж почти и срубил — главное дело сделал, но... баба от его ушла... уехала — всем прямо на удивление, вроде и баба ничего была, а вот поди ж ты!.. Сергей Андреевич говорит, мол, продавать «свою заготовку» сосед собрался, чтоб разделаться со своим небольшим хозяйством, да и тоже куда-нибудь укатить, чтоб из памяти вон... Недорого, как оказалось, и просит — хорошо бы не упустить такую возможность, только как вот с деньгами-то извернуться? Марей! Ты за декретный-то уж получила или нет ишшо? — Я сказала, что деньги получила и пока лежат, не решили, как ими распорядиться получше... — Ну, вот. Сколь-то уж есть, да Азарий пускай ссуду для себя как бы, временную, выпишет, да сам Сергей Андреевич пообещал из кассы взаимопомощи взять — с отсрочкой... Я уж всяко думал и вот чего придумал: если Сергей выпишет лесу на нижние венцы, дак и за дело бы приниматься можно...

Витя ничего не говорил, ни о строительстве дома, ни о чем вообще, утром как обычно, ушел на работу, Галя по дому да с Иринкой, я пока больше в постели — со своим маленьким Андрюшкой... После ухода Вити на работу Галя, а она чуткая была очень к тому, что происходит в доме, в семье, если особенно какое-то несогласие — старалась, как могла и умела, как бы всех сблизить, сдружить, сделать что-то хорошее, отчего все будет хорошо или хотя бы лучше.

Утром наносила воды, нагрела и провернула большую стирку, натянула веревки в кухне и в закутке у умывальника, сварила картошку с салом да с луком — сто грамм сала на ведро картошки! — как со смехом называла она свое блюдо, но туда крошит луку, листик лаврушечки, соль, чесночинку, морковку — что есть — и долго варит — пока не разварится картошка и не впитает в себя мясной запах, а сало она резала мелконькими кубиками, чтоб почаще попадались в ложку, чаю вскипятила и выбелила печку. Мы ее белили почти каждую неделю, и от нее, светленькой, да тепленькой, в избе делалось светло и уютно.

Витя пришел, поужинал. Затем мы с Галей детей купали, сначала Андрюшку — очень уж он любил это дело. Подстелим в ванную пеленку побольше или старенькое одеялко, а на него сверху накинem легонькую пеленку и, прежде чем мыть, ладошками поливаем его сквозь пеленку, одна с одной стороны, другая — с другой. Он потягивается, позевывает, замрет, когда его водичкой поливают... А мы в голос: «Расти большой, расти удалой, умный-разумный, красивый да статный...» — всякие хорошие слова говорим, а он полеживает. Терпел, когда мыли головушку, под мышками и в пашках, глазки протирали и ушки, и ноготочки постригали, чтоб сам себя не царапал. Я домы-

ваю, Галя окатывает, затем расстилает на столе пеленки и тут же его в теплую сухую благодать. Я пеленаю, кормлю, Галя в зыбке постельку поправит. Пока малого завертываем да укладываем, Иринка не один раз забиралась во всем, в чем была, в ванную с водой, балкалаась, пеленки как бы стирала.

Пока я кормлю да укладываю сыночка, Галя громким шепотом — тише не умела — выговаривала Иринке за проказу, и тут уж ей приходилось разворачиваться: с Иринки все разувать, раздевать и во что-то на время укутать, чтоб не остыла, а ей, Гале, тем временем успеть отжать мокрую одежку с девочки, пеленки тоже, и воду слить в ведро да в таз, а вынести на улицу уж после, как руки дойдут.

Витя устал, мы с Галей устали, но ребятишек вымыли, Иринкины носки да ползунки к печке сушить приспособили, а пеленки так в ванной и оставили — развешивать все равно негде, завтра выстираем и развесим. И все улеглись спать: Галя за печкой, мы с Витей на кровати, зыбка над нами в ногах, а Иринку укладывали на стульях: ножки стульев связывали, чтоб не разъезжались — она ж спит беспокойно, ворочается, раскрывается, и к ней чаще, чем к Андрюшке иной раз подниматься приходилось.

Перед тем как лечь спать, я в печку не заглянула — не осталось ли где головешка, да Галя, как потом она сама призналась, пораньше закрыла, чтоб поскорее и печка просохла, и белье...

Вдруг Иринка как заплачет, как зачихает. Я хотела поднятьсь и не смогла, скатилась только на пол, а встать не могу и понять ничего не могу. Тут Витя вскинулся:

— Да ведь угорели! — Встал, запнулся за меня, помог сесте и сказал, что трубу откроет, — потянулся к трубе, а у печки-то ванная с водой да с пеленками — опрокинул, облился весь, губу рассек и тогда как-то сообразил, что надо дверь открыть, хорошо, что упал головой и ею дверь открыл, хватил свежего воздуха... чувствует: губа разбита о корыто, весь мокрый, кричит, будит, трясет меня, Галю, чтоб ребятишек завертывали да на улицу, к нашим... И пошел.

Мы оделись, как смогли, кое-как. Я Андрюшку завернула, под телогрейку, полами прихватила, Галя Иринку пытается одеть, а та плачет, ничего понять не может. Пришел папа, распахнул избу и велел мне с ребенком за хлястик его полупальто держаться, сам взял у Гали Иринку, а она чтоб шла за мной — вдруг падать начну, так подхватила бы вовремя...

А там, у наших, уж разговор; как испугались, увидев Витю голого и всего в крови, решили, что ворвались головорезы. Тася принялась на полу в кухне постель расстилать, мама печку затопила, чтоб теплее. Мы с Андрюшкой улеглись наверху, на кровати Азария, Галя с Иринкой — на полу в этой же комнате,

а Витя, Азарий и папа улеглись на полу в кухне. Мама спала с Толой в загородке-спаленке, он не проснулся, а она после опять к нему с краю легла. Потом, вспоминая про это ночное происшествие, да и по другому какому случаю, все говорили, что Иринка — маленькая доченька — нас всех спасла, а то все бы так разом и уснули... Столько бы гробов понесли на кладбище...

Когда я пришла к Сергею с просьбой выписать лесу — на три-четыре венца, чтоб заменить гнилые нижние бревна, не отказал, но... предупредил, даже глаза не потупив:

— Миля, я вам выпишу лесу, надо так надо, только мы своим сотрудникам отпускаем-продаем его по двадцать шесть рублей за кубометр, а посторонним — по шестьдесят четыре... Извини... — и тут же распорядился, чтоб выписывали накладную и что, мол, хоть завтра, как оплатите счет, так можно и вывозить...

Я какое-то время стояла перед своим старшим братом в лесничестве, в его кабинете, как подсудимая, именно так я тогда себя чувствовала. Еще постояла, он не торопил, но присесть забыла предложить. А я считала в уме: сколько надо уплатить и хватит ли у меня денег. Тут ему подали бумажку — счет, он протянул его мне, там значилась цифра и в скобках прописью: одна тысяча семьсот девяносто два рубля. У меня было 1800 рублей. Я, не пересчитывая, отдала деньги, взяла ордер с печатью «оплачено» — и вышла, ни спасибо, ни до свидания мой старший брат тогда от меня не дождался, а без восьми рублей, полагавшихся на сдачу, мы проживем и так, — со злой обидой решила я.

Мир да добрые люди пропасть не дадут. Заведующая туберкулезным диспансером выделила две лошади, и на другой же день лес был вывезен.

Я забыла сказать о вроде бы малозначительной детали. Как-то Витя пришел с работы, и не один — его привел сосед татарин, работавший вместе с ним. Витя сильно повредил большой палец на правой руке, а мог, как оказалось, вообще лишиться руки. А мы с Галей опять на ужин вареники лепим — хорошая еда. Вода кипит, Галя лепит, Андрюшка спит, а Иринка за столом, как заправская работница, вся в муке и в тесте — дали ей колобок, она с ним и возится, швыряет носишком и трудится.

Долго, недели три, болел палец у Вити, он болел и потом еще, но три недели его держали на больничном. И не бывает хуже без добра — не зря говорится — он за это время не одного крестника заимел: все приглашали, чтоб сходил в церковь, окрестил. Ну, надо так надо, — решал Витя, и нес младенца, чтоб макали его в церковную купель. Приглашали его и сходить в церковь, чтоб обвенчали там молодых. Витя пошел на расхват! И не зря!

Много хороших знакомых заимел, и они-то, большинство из них, оказали нам неоплатную помощь. Кто продуктами, кто деньгами, кто трудом да умением.

Кум Саша Ширинкин сговорил двух мужиков-плотников, и они довольно быстро и сноровисто уложили в подготовленное ложе для нижнего венца подогнанные бревна, на них еще три ряда ровных, новых бревен, а дальше уж гадали — выгадывали: что куда. Нашу избушку раскатали и сюда же перевезли, а мы временно проживаем снова у наших. Моху у того соломенного вдовца было заготовлено много, Сергей Андреевич плотник опытный — на его ответственности были оконные и дверные косяки, а рамы — дело тонкое — он делал у себя в полуподвальной части своего дома, где была и кухня, и его столярная мастерская.

За зиму постройку дома не закончили — не успели. У помощников время, отведенное для этой работы, кончилось, мы с Галей промазывали пазы глиной, но окон нет, глина холодная, по недостроенной избе гуляют сквозняки — и я опять заболела, на этот раз воспалением легких. На крышу наложили досок разных и покрыли временно толью, окна забрали досками.

Витя бедный — у него проснулся ревматизм — утром едва вставал на ноги. Я их и керосином растирала, и теплую соль прикладывала, и сшила из стареньких пеленок, проложенных ватой: на руках сшила края и к углам пришила тесемки — получилось что-то навроде медицинской маски. Он привязывал эти «утеплители» к коленям, одевался, завтракал, чем Бог давал, и отправлялся на работу, ранним утром, в самую-то холодную пору. Идя с работы, он все равно тащил две-три доски из вагонного депо — из тех досок впоследствии получились сенки с оконцем, краснеющие издали отметинами — дырками от гвоздей.

Когда удавалось погреть воздух в холодной недостроенной избе печкой-«экономкой», Витя с Азарием да с Галей иногда туда уходили и на глазок выстилали пол, выравнивали, помечали половицы, которая куда пойдет, сколотили западню. Но долго в таких условиях не выдержишь, много не сделаешь, да и день зимний короток.

Жена у Саши Ширинкина — Маша — милая, бойкая, удаляя бабонька, работала обвальщицей на колбасном заводе, и Витя, чтоб не уморить с голоду семью и себя — на горячей, тяжелой работе да полуголодный, да израненный, — определился туда на работу, сначала ворочал, сгружал, таскал, вытаскивал мерзлые и скользкие туши, а лесенки в обвальочный цех узкие, скользкие от жира, сносившиеся — упадешь — не поднимешься. А он таскал, иногда и сам поест питательной пищи и домой принесет то обрезанных жил, то костей, иногда чего и более ценного: колбасы, еще горяченькой, — я ни до той поры, ни по-

сле такой вкусной колбасы и не едала! А ребятишки подавно. А то и шпику, и мы на нем жарили картошку, по-настоящему, когда сало швырчит, картошка подпрыгивает, а потом, когда остынет и на дне сковороды останется самая вкуснота, — ребятишки все клеенку извозят, тянут друг от дружки ту сковороду, отскребают жирные, хрустящие пригаринки. И так это нас поддерживало, так выручило, что у ребятишек заметно и быстро округлились мордашки, да и в нас молодые чувства заиграли...

И только бы себя и детей подкормить, дать окрепнуть, но тут от нас забрали Галю — которой-то из сестриц нянька понадобилась. Ох, как мы ревели с Галей, обнявшись на прощанье! Ох, как голосили! Мы какие-то подарочки Гале сделали, да что те подарочки по сравнению с тем, что она вместе с нами пережила, вытерпела, вынесла.

Она еще какое-то время после навевывалась к нам, но всякий раз как бы с оглядкой, мол, ненадолго отпустили.

Кум Саша Ширинкин работал на хлебозаводе, о нас тоже не забывал: то принесет буханку хлеба — сам он до того тощий, что стоит ему утянуть живот, и булка хлеба свободно входила под рубаху, под ремень. Раза два, наверное, приносил пирог с повидлом, но без стеснения однажды показал, что сделалось с его брюхом, когда его перехватили на проходной, а перехватывали там странно: женщин и девчонок принимались лапать, щекотать, и которым делалось невтерпех — со злом извлекали из ухоронки хлеб или пирог, сало или колбасу, а Саше вахтер как изо всей-то силушки дакнул кулаком в живот, так и потекла жгучая, сладкая каша по телу и вниз — вахтер долго хохотал Саше вдогонку, как он, оттянув штаны насколько возможно, бежал в угор, к нам, пригоршней выгребая то злосчастное варенье. С тех пор Саша на пироги не зарился, а вот калачи, булки хлеба, а еще лучше мучу, приноровился к «операции». Однажды, правда, кум приготовил «для пикировки» специальный холщовый мешок, насыпал в него муки, разровнял, разложил по груди и животу под рубахой, идет по цеху на выход и видит вдали «полундру» — проверяющих, трех или четырех мужиков. Мгновенно обдумал ход и, проходя мимо противопожарной огромной бочки с водой, бульк туда мешок и дальше пошagal, руки в карманы, как ни в чем не бывало! Рассказывал, что жалко было выбрасывать мешок, но все лучше, чем за решетку. А Маша и вообще его утешала, сказала, что мешок не промокнет насквозь, только корочкой возьмется, так Маруся, это я, значит, замочит, мол, в кастрюлю да, отстирав муку с мешка, наведет блинов, посолит, посахарит маленько, то да се — блины лучше наилучших будут!

Как только начало обогревать, Витя мой снова за работу, какой материал есть, тем и занимается, снова носит доски, иногда

и по три за раз, из вагонного депо. В артели «Металлист» по старой памяти снабжали гвоздями, Сергей Андреевич стекло сумел выписать и сказал, что рамы скоро будут готовы.

Мы огород копаем, а земля каменистая, копается трудно, а чего уж на ней вырастет — осень покажет...

Витя уже пол настлал, потолочины примеривает, многие сгодились от нашей избушки — от стены до матицы проходят, даже если трупелые концы опилить. Но вот беда: работник-то он один, как говорится, сам себе барин и дурак. Уронит молоток или топор — слезать за ним надо. Работа продвигается медленнее, чем лето подкатывает. Вот уж по дороге, мимо дома, начали выгонять стадо — на первую травку. Мама нашу корову тоже в это стадо гоняет, сдают пастуху и по очереди выносят ему хлеб, молоко, иногда и пару яиц. Пока в гору стадо гонят, не очень разберешь, о чем хозяйки разговаривают: то одна корова отстаёт, то другая куда свернет. Зато уж когда обратно идут, то непременно проходя мимо нашего дома, притормозят ход и заговорят о хозяине, который тут постройку дома затеял. Одна говорит, мол, знает ли кто, что за новожитель объявился? Пьянчужка, видать, каких свет не видел! То поет, то матерится!..

А им невдомек, что хозяин тот на все руки один, и если все ладится — поет во всю головушку, а если молотком по пальцу стукнет или, того хуже, ножовка или топор упадут, и поднять, подать их некому — самому приходится за ними слезать, — тут уж матерится, как умеет и сколько голосу есть. Вот и выходит: то поет, то матерится. Мама виду не подавала, лишь ниже склоняла голову и уж после рассказывала, как глотала тогда слезы, умолчав о молодом, незадачливом хозяине-строителе — своем зяте, каково ему плотничать без помощников да без денег? Кто его всему этому научил? Рос в сиротстве, в детдоме, потом война, израненный, от нужды усталый... Кому, — говорила она тогда, — про все это скажешь? Кто поможет? Одно утешенье, что молодые, что война кончилась... потихоньку устроятся, станут жить, как смогут, как сумеют.

Саша Ширинкин с Витей — два кума — довольно быстро подвели решетинник под толь — под временную кровлю — и быстро с этим делом управились, прибавив полосы толи неширокими деревянными рейками, чтобы ветром не снесло.

Сергей Андреевич, дай ему, Господи, царство небесное, вставил аккуратные рамы, уже застекленные и покрашенные, наличники изнутри и снаружи приколотил — окна как проснулись, а мама сказала: «Как умылись!»

Нашли дядю Гришу, известного в городе печного мастера, а кум Саша к той поре сварил из толстого железа прямоугольный пятиведерный бачок для воды с откидной крышечкой сверху, с

медным краником внизу, не достигая два-три пальца до днища. Изладил нам дядя Гриша печку русскую, да такую дивную да аккуратную! Вместо кирпичей на шесток плиту с кружками положил, сбоку вмуровал тот бачок из толстого железа сваренный — и русская ли печка топится, плита ли — в бачке всегда горячая вода! А он, дядя Гриша, еще заставил нас натолочь бутылочного стекла и рассыпать его под кирпичи: дров сожжешь малое беремя, а в печи хоть барана жарь — так под накалялся! С той печкой никакая другая из мною виданных до сих пор в сравнение не идет! Затопил он сам излаженную им же печку, присел, полюбовался, как свод в печи заалел, что дым раза два выбросило, и все — дальше пошел-повалил, куда ему и положено идти.

Принял уже две или три стопки и ласковым, удовлетворенным взглядом обвел залившую (запестревшую от тепла) печь, поглядел еще раз, затолкав голову чуть не в самую печь, оглядел свод и заключил:

— Горя знать с печью не станете, помяните мое слово. Конечно, порядились бы и вместо пяти сот дали бы две — я и две взял бы, но на две и сложил, а, не рядясь, выдали положенную сумму — и вам с такой печкой жить и зимовать надежно, и мне не совестно!

Покрасили мы с Машей Ширинкиной окна, косяки, двери, перед этим на два раза пробелив потолки. Разделили заборками — доска к доске — избушку нашу на спальню, опять же из расчета на две кровати и чтоб половичок ложился на пол между ними; Витя из двух гладеньких, уже крашенных досок, выбрав получше из тех, вагонных, «изобразил» полочку, укрепил укосинкой — один конец в стену упер, другой — в кромку полочки. Получилось замечательно. Теперь уж и стены белые, и печка не пегая, а ровненько выбелена. Когда выкрасили двери и полы, я сколько-то дней с детьми ночевала у наших, а Витя решил спать в чулане — там в сенках и чулане будем красить полы в последнюю очередь, а если краски хватит, то и в туалете покрасим — там тоже побелено.

В комнате поставили стол, тот, списанный и привезенный из Горпромсоюза, четыре стула имеются, купили диван, обитый черным дерматином, но все называли его кожаным.

Кухня пока осталась без стола. И опять кум Саша выручил, принес большущий ящик из-под сигарет или из-под печенья, крепкий, металлическими ленточками по углам обитый, покрыли мы его клеенкой — как настоящий стол.

Избушка с виду была, конечно, не дворец, а внутри теплая, светлая, чистенькая, и все, кто к нам приходил, удивлялись — такая с виду маленькая, а внутри так хорошо все разместилось и получилось очень даже уютно.

После того как моего, уже последнего из оставшихся в живых, брата Азария, которого в войну комиссовали «по чистой» — из-за болезни глаз, осложнения после золотухи — так врачи называли эту болезнь тогда, — когда ни с того ни с сего на теле появлялись коросты, и врачи же это объясняли нехваткой витаминов, хотя не переводились овощи, свое молоко, куры хорошо неслись, — мама насильно стала поить его рыбьим жиром, а в аптеке по рецепту давали желтую глазную мазь — не в тюбиках, не в стеклянных баночках, а в овально гнутых из тончайшей фанеры, вернее сказать, из тонкого ее слоя, коробочках. Сначала мама, вымыв с мылом руки, смазывала его воспаленные веки изнутри, пока он сам не приспособился смазывать нутро век.

На удивление врачей, особенно родителей и нас, его сестер, глаза у Азария стали заживать и скоро перестали болеть вовсе. Он начал обучаться работе. Сначала, надев защитные очки, был учеником, затем и строгателем по металлу; затем — шлифовальщиком, токарем. Да я уж всех его работ и специальностей и не припомню, пока, наконец, братец мой сделался уже токарем-универсалом на заводе, на «Стане — 370», иначе цех тот назывался просто — «рессорный».

Витя по-прежнему таскает из вагонного депо списанные доски, которые могут сгодиться на перегородки в избе, чтоб разделить ее на кухню, комнату и спальню — как получится. Доски ровненькие, со специальными на кромках узенькими срезами — для плотности стыковки одна к другой, неважно, что краска на тех досках облупилась — все равно красить надо будет. Придет он с работы, поужинает, чем Бог пошлет, напьется чаю или квасу и уйдет в ограду. Посидит, покурит, отдыхая после работы, недолго подождет брата моего, тоже с работы, затем выкатит из-под навеса чурбак, обрубков рельса на него положит, рядом — два молотка. По сторонам чурбака поставит ведра: одно с гнутыми гвоздями, другое — пустое — для выпрямленных, и поблизости — большую, литра на три, банку из-под сгущенного молока, погнутую, местами проржавевшую — для отходов, и закурит. Пока курит, на небо посмотрит, птичий гомон послушает, резко повернув голову в сторону линии, проводит взглядом проходящий мимо железнодорожный состав... В это время он — не раз казалось мне, наблюдая за ним, — наверное, вспоминал о своей железнодорожной работе: как обучался, как начал работать самостоятельно — сцепщиком вагонов и, если б не война, куда с дуру, а может, с пониманием важности того времени, отправился добровольцем на фронт, как отправились туда тоже добровольцами многие тогдашние его соученики.

А на войне ранило, и не раз, повредило глаз и руку. Вспомни-

нал, наверное, как он после ранений скитался по госпиталям — и выжил, но профессию сцепщика вагонов из-за ранений утратил навсегда. Будь все иначе, он не сидел бы тут, не выпрямлял бы старые, гнутые гвозди, часто уж взявшиеся ржавчиной, но все равно годные в дело. И не знал, не ведал бы, что женится на дочери железнодорожника, тоже сцепщика вагонов... — Тряхнёт головой, прервет воспоминания, полезет в карман за папироской и вдруг!.. Братец мой, вот он! Уж калитку за собой прикрывает. В грязной спецовке, улыбается неизвестно чему. Но Витя понимал, шурин рад встрече с ним — они сразу, не заметили и сами, как сошлись — сдружились, и это долго помогало в жизни и потом, пока брат мой Азарий не ушел из жизни. Странно все случилось...

Однажды сидел он на зеленой бровке у третьего магазина, где останавливалась электричка. Долго ли сидел-ждал — кто знает? То ли на солнце перегрелся, то ли обморок приключился? Откинулся на спину — и все. По одну сторону сетка с продуктами, по другую — капроновая шляпа, часы на руке — все при нем. Проходившие мимо люди, видать, думали: или спит, или пьян. Когда подобрала его «скорая помощь» и доставила в больницу — спасти уже не смогли. При вскрытии обнаружили опухоль мозга. Но эта жестокая неизбежность произойдет позднее, спустя уже годы. А тогда... Брат мой приблизится к Вите, свояку, добродушному, большеголовому, редко когда и унывающий, чаще — весел и на многие дела мастер. Кивнет на приготовленный «фронт работы». Скажет, что он сейчас, быстро, только робу снимет, умоется и прибудет, чтоб приступить к исполнению обязанностей, даже есть не будет — завернул, скажет, ненадолго к Софье, там и поел, и сходу домой.

Когда брат тоже подсел к чурбаку, взял молоток, горсть гвоздей, Витя отложил так и не раскуренную папироску, тоже взялся за молоток и сказав, что подождет бы еще маленько и принялся за дело в гордом одиночестве...

Так ли хорошо на них было смотреть со стороны: то негромко о чем-то переговариваются, то молчком позвякивают по гнутым гвоздям и выпрямленные не глядя кидают в пустое ведро, «безнадежные» — в погнутую банку. Вот стукоток прекратился, значит, перекур или пить захотели работнички, отставлю таз с выстиранным бельем и вынесу из избы литровый эмалированный ковш с квасом — хлебозавод близко, и там постоянно продают квас, свежий, чуть пенящийся — там и покупаем. Чуть задержусь — может, чего спросят или скажут, и отправлюсь к натянутой веревке, чтоб развесить оставшееся белье.

Папа иногда накинёт старенькую телогрейку на исхудалые плечи, выйдет из избы, прищурив глаза, поглядит на высокое не-

бо, подсядет на скатанные к забору жерди и тихо наблюдает за работой молодых, вроде и беззаботных, работников или поперебирает откинутые в банку, изверченные гвозди, приученный нуждой добром не раскидываться, иные в руке задержит, готовый с укоризной как бы обратить внимание трудяг, мол, такие бы и повыпрямлять еще можно, и сгодились бы... Но тут, вдруг слышит веселый их смех, бросит гвозди обратно в банку, прислушается к их разговору и догадается: опять, варнаки, над девкой галят! И чево она имя на язык попала? Девка и девка, из порядочной семьи, с им вот, с большеголовым дураком дружбу водит. Ведь он и сам же ее-то хвалит, мол, Софья у меня знаешь какая? Будь здоров! На швею скоро выучится и всех нас в обновы нарядит!.. В другой раз дак хоть заступайся за ее: и косая-то она, и ростом не вышла, и конопатая... Ну и что, что рябая? Дак не зря говорится: с лица воду не пить... Никак он их не поймет...

Под равномерный звяк гвоздей и негромкое постукивание молотков папу начинает клонить в сон, и он, искуриив вместе с работниками свою большую самокрутку в прожженных дырочках — он ею долго, бывало, пышкает, стреляя искрами крупно рубленного самосада, но в нутро дым не втягивает, а так, вышкает-дымит, и иногда цыгарка эта догорит до тла, иногда он ее притушит и уберет за ухо, если намеревается еще побыть во дворе, а если уходить домой решит, то окурок тщательно загасит и положит на верхний дверной косяк.

Витя и брат с нетерпением ждали выходного дня, тогда, ранним утром — хоть камни с неба падай! — непременно придет кум Саша. Придет вместе с женой Машей. Принесут они с собой булку хлеба, а Маша прихватит с колбасного завода — работникам завода как бы полагалось определенное количество колбасы или сала, а жилку — вырезанные из мяса жилы, но не до предела, а оставив на них сколько-то мяса, или принесет мозговых костей, которые у них продавали по дешевке в ларьке.

Они заберут принесенные Витей из депо доски, гвозди — и там закипит работа. А я, к сожалению, пока еще не очень здорова, но, собравшись с силами, готовлю сытную еду, часть отделию нам с папой и мамой да ребятишкам, а большую часть — работникам. Бражка уж там припасена.

Избу пока закрыли толем. Со временем Витя приобретет рулон рубероида, эта кровля будет надежней — не порвет ее, не унесет ветром. Надсадился, бедный, зато больше не понадобится подставлять тазы да ведра.

Когда уже определится в избе комната и в ней будет стоять стол, пусть и списанный, но крепкий, «кожаный» диван и стулья. Витя, чтоб отблагодарить кума за неоплатную и такую необходимую помощь, велел ему принести подержанную клеенку, если

найдется, да красок, хорошо бы масляных, мол, белила, охра и сурик есть — остались от покраски окон, пола, заборок, а вот других цветов нет. Тогда он нарисовал бы им с Машей ковер!

Я удивилась про себя: надо же! Витя мой, оказывается, не только мастер разных строительных дел, но еще и художник!

И нарисовал он панно! Что это был за ковер! Его хоть над кроватью прибей, хоть над комодом, да где угодно! На первом плане — мелкое разнотравье, ближе к воде — камыши, то кучкой, то по одиночке — они даже вроде и покачиваются на ветру! — Как в песне-то поется: «Сидел рыбак веселый на берегу реки, а перед ним по ветру качались тростники...», а тут — камыши... За ними полая вода, нежно-голубая, кое-где с отражением деревьев, растущих на другом берегу. А по воде плавают лебеди! Белые, крупные — в соответствии с размером ковра, красноклювые... Плавают себе, только что не шевелятся...

«Ну и ну!» — думала я, разглядывая произведения искусства с веселым удивлением.

Витя в какой-то момент перехватил мой взгляд и не без гордости как бы спросил, мол, ну и как?! И тут же: «Знай наших!»

В то время у многих были альбомы, в которые переписывались стихи, рисовались цветы или какие другие картинки. Витя мне тоже однажды нарисовал — поздравление с праздником. На нем розовые, предзакатные облака, а чуть ниже — летящая чайка! И ласковая надпись. Но ковер — совсем иное дело!

Когда он работал на колбасном заводе, в ночное дежурство, на листах вахтенного журнала, большого, как амбарная книга, — написал свой первый рассказ — «Гражданский человек», который после назвал «Сибиряк». Рассказ напечатали в городской газете «Чусовской рабочий». Кум Саша с женою, прочитавшие этот рассказ, затем у нас, угостившись бражкой и как бы развязав язык от хмельной смелости, стали с громким удивлением говорить о том, что не ожидали, не знали даже, что кум наш на все руки мастер! И дом вот себе построил, небольшой, но внутри теплый, главное — свой и вместительный — имея в виду то, как ловко в нем все разместилось: комната само собой! В спальне две кровати и между них «конторка» — продолговатая, с двумя створками, и в кухне — стол, табуретки... А в комнате еще и короткая, гладко струганная доска — полочка, прикрепленная к стене скрученной как суровая нитка проволокой, и на ней уж с десяток книг. Я даже помню их отчетливо: «Дитте — дитя человеческое» Мартина Андерсена Нексе и «Гроздь гнева» — Стейнбека, «Самостоятельные люди» — Х. Лаксна; М. Печорский — «В лесах», «На горах» и еще книга «300 лет воссоединения Украины и России» — уж вовсе не знаю, зачем она понадобилась и куда потом делась? А первые книги из серии

«Иностранная литература XX века» в ту пору выходили в мягкой обложке и потому были дешевы.

Когда кум Саша, высказав свое восторженное удивление по поводу рассказа, приблизился к книжной полке, поразглядывал книги, которые, видимо, ни о чем ему не говорили, однако же, кивнув на них, сказал, мол, если даже по полстраничке списать из них — вот тебе и роман получится!.. Только, конечно, с умом надо. Витя выслушал Сашу, а потом сказал, мол, будь бумага, так я еще и не такой рассказ написал бы! Но за испорченный вахтенный журнал на колбасном заводе ему дали прикурить! А то бы...

И живем мы дальше, переживая усталую на войне, да вот и после свою усталую оставшуюся молодость... Живем уже в своем уютном домике, у которого пристроенные сенки-веранда пестрели полусносившейся краской и оттого виднелись далеко. Витя еще тогда, при строительстве дома сообразил — придумал напротив дверей из избы веранду неширокую, но в длину дома, в одном конце с прорезанным в стенке, выходящей на дорогу, оконцем, маленьком, но застеленном, и оказалась эта веранда хорошим и нужным дополнением. В другом, отдаленном конце, — дверца в туалет, пристроенный со стороны огорода. Так вот, в полу сенок-веранды напротив входа в избу и выхода на улицу Витя сделал выем, в выеме крыльцо в три ступеньки. Стенки того крыльца забрал досочками, и в летнюю пору, скажем, вдруг дождь заморосил, или солнце начало сильно припекать, можно было сесть на приступки того крыльечка или на верхнюю ступеньку и глядеть окрест или покуривать, просто ли отдыхать на свежем воздухе не отходя от дома; я брала иногда вязку — вязала рукавички, носки ли детям и мужу. С верхней ступеньки видать было посаженные Витей иргу, сирень и березку, дальнему взгляду открывался и город, хотя не сам город, а заводские дым.

Однажды пришел кум Саша, принес буханку хлеба, немножко муки в кошелке и рулон обоев, не по-фабричному, а рыхло свернутый, положил все на кухонный стол. Рулон тот немного распустился и сделались видны обрезки разных обоев. Витя был дома, посмотрел на кума, на остатки обоев, зрячим глазом уставился на него, пытаясь понять, что к чему.

Тогда кум, не допуская возражений, пояснил, мол, она, то есть я, разрежет их на полосы не вдоль, а поперек, сложит стопкой, может, сошьет по середине, чтоб получилась как бы своейдельная тетрадь, или сверху схватит нитками, чтоб страницы не путались, и тогда тебе писать-пописывать, пока все не испишешь, может, не один еще рассказ придумаешь да напишешь...

Это был, прямо скажем, «ход конем»! Те страницы, вырванные из вахтенного журнала и исписанные Витей, мы поздним вечером прихватывали с собой в редакцию — редактор знал Викто-

ра еще по участию в литературном кружке, при газете организованном, разрешил, чтоб нас пускали в помещение редакции, в комнату, где работали машинистка и бухгалтер. Я усаживалась за машинку, не бойко, конечно, но перепечатывала страницу за страницей, исписанную далеко не каллиграфическим почерком, да еще и каждая начатая строка к концу опускалась до уровня ниже следующей, значит, нужна была линейка, чтоб при перепечатке текст был, как полагается, ровным и понятным. В будущем и всю жизнь Витя — Виктор Петрович будет писать только на клетчатой бумаге. А тогда... Витя садился за стол бухгалтера, просматривал подшивку газет и прислушивался к далеко не бойкому стрекотанию машинки — он и потом всегда будет с нетерпением ждать и любить читать печатный, машинописный текст своей рукописи, особенно после первой перепечатки.

С этого все и начиналось: он учился сочинительству, а я осваивала работу машинистки. Позже, не раз и не два, в разговоре с кем-нибудь он говорил, мол, она избаловала меня тем, что мне не надо искать машинистку, диктовать ей или переписывать начисто, как поступают некоторые писатели, или учиться самому, далекому от всякой техники, печатать на машинке. А она — вот она, своя машинистка и между делами терпеливо перепечатывает мою писанину. Она, к примеру, мою повесть «Кража» — перепечатала тринадцать раз, повесть «Пастух и пастушка» — одиннадцать...

И только позже, спустя почти пятьдесят лет его работы в литературе, когда к юбилею Виктора Петровича выйдет пятнадцатитомное собрание сочинений, глядя на эту драгоценную стопу томов, душа моя удивится приятно: все это напечатано, много раз перепечатано мною! Даже врач, пришедшая к нему, застала меня за работой на машинке, увидела правленный им текст, с сердитым недоумением спросила: «Чего он сразу-то правильно не напишет?!»

А тогда, на длинных — в ширину — пластах обоев, шириной, как страницы того, вахтенного журнала, амбарную книгу напоминающего, я хорошо это помню, когда Витя написал рассказ «Гражданский человек», он написал еще рассказ, и опять о войне. Теперь я эту трагичную его тему, которая долго будет преследовать его, да кабы только в творчестве, выразила бы словами из старинного русского романа: «Но память — мой злой властелин...» Куда тот оригинал рукописи, написанной на обоях, делся — не знаю, а жаль — это такое ли было бы свидетельство о работе начинающего, молодого литератора — нынешним молодым, и не только, с ленивой небрежностью относящимся к высокому своему назначению.

Виктор Петрович все продолжал меня как бы удивлять (то

есть почему «как бы»?!). Как, оказывается, он много знает, умеет, как интересно мыслит, читая вслух вновь написанное...

И тогда, и потом, особенно после минут кажущегося отчуждения, затянувшихся иногда на неделю-две, иногда и более того, когда он, освободившись мысленно от еще совсем недавно пережитого-минувшего, садился за стол, принимался за работу и опять читал мне написанное или рассказывал о чем. Я трудно, не сразу, но умирала в себе боль и обиду от пережитого, — опять буду удивляться, переживать, радоваться и печалиться, и все чаще будет приходить на ум написанное одной поэтессой: «Твоим величием подавлена, я удивляюсь то и дело: да как же я в ту пору давнюю такого полюбить посмела?!»... И так, день за днем, год за годом буду удивляться, читая и перепечатывая его вновь написанные «затеси», рассказы, повести, романы. Да и как не удивляться?! Последняя его книга — «Веселый солдат» будет признана в стране нашей лучшей книгой года!

А тогда ох как трудно мы приноравливались к той изнурительно-тяжелой жизни — без содрогания и вспомнить невозможно. Еще перед тем, как Витя мой устроился рабочим на колбасный завод, чтоб не уморить детей голодом, — хватит, одну дочку уже уморили — мы завели было козу, но недолго подержали: не оправдала она заверений хозяина, продавшего нам ее, — пол-литра в день — какая от нее корысть? Вернули мы ту козу ее хозяину. Ладно, деньги вернули. Тогда купили трех кроликов — детям как бы на забаву до поры, до времени, они и кормить их станут, траву рвать, поить. Ни наша семья, ни тем более Витина родня никогда с ними дела не имели. А мы... Смастерили из старых ящиков клетки, поместили в подполье. Но они такие шустрые да жоркие оказались, быстро порушили клетки, побили да перевернули банки с солеными грибами да с капустой, прорыли сквозные норы в углу завалинки — и были таковы!

Смех и грех, но погоревали сильно. Тогда наш кум Саша Ширинкин принес нам трех куриц и петуха. Большой ящик — кухонный стол — довольно быстро и ловко приспособил под курятник — вместо четвертой стенки прибил сверху до низу ровненькие, гладко струганные палочки, по низу прибил выгнутое из жести узенькое, в длину курятника, корытце — для корма. Все нормально получилось. Места за столом всем хватает, курицы тоже определены на место, только вскорости петух стал проявлять странности в поведении, особенно когда семейство усаживалось за стол. Ребятишки едят, ногами побалтывают, но как только хозяин потянется с ложкой к тарелке, петух тут же выпростает голову меж перегородок и закукарекает что

есть мочи. Всем смешно, хозяину не до шуток — возьмет он и трахнет по столу кулаком, ложки подскочат, петух с урчаньем уткнет голову в курятник, но ненадолго — только момент выждать. Дело доходило до того, что ложка в курятник летит, матюки как шлепки по кухне разлетаются, перепадало и ребятишкам, а то и из-за стола отец турнет.

Однажды привел к нам сосед девушку, свою племянницу, приехавшую из деревни, чтоб устроиться на работу, потом и паспорт получить. Дядя Секлеты — так звали девушку — прослышал, что нам нужна няня для ребятишек. Секлета оказалась доброй, ласковой к детям, хорошей нам помощницей. Жить нам стало полегче.

Как-то я немного задержалась на работе, значит, взяла ребят из садика тоже позже обычного, вместе с ними зашли в магазин, купили кое-что из продуктов да Иринке носочки тоненькие — набраться не могу на нее: протирает — штопать не успеваю, а тут им к Новому году надо готовиться, к утреннику, и воспитательница Любовь Харитоновна Лобода сказала родителям, что если у чьих детей нет носочков к новому году утреннику, то в магазине рядом продаются недорогие и очень славненькие. И мы купили. Обоим, чтоб не обидно, только цвета разные.

Идем, поднимаемся на свою гору, не торопимся — ребята в садике недавно пили чай. Иринка первая увидела, что к нам девушка пришел. И правда: стоит возле крылечка, опершись грудью на посох, такую гладкую палку-помощницу себе он сделал когда-то, и она его очень выручала.

— Ты давно нас ждешь, папа? — спрашиваю и тороплюсь побыстрее открыть дверь.

— Да не больно и долго, но после бани, дак думаю, маленько ишшо подожду, а не дожусь, дак и домой стану спускаться. Сам-то ничего, спина стала зябнуть да и нога... вроде и опираюсь-то больше на палку, а все одно ноет.

В избе тепло — Секлета в этот день во вторую смену работает, обед сварила, все прибрала и ушла. Молодец Секлета. Теперь, когда ребята подросли и стали ходить в садик, она той порой получила уже паспорт и устроилась на работу в столовую — на раздачу. Она ловкая, в деле быстрая и очень, как говорится, сразу в той столовой прилась ко двору.

Я накинула на спину папе старенькую Секлетину шалюшку, пододвинула табуретку поближе к шестку, чай на плите горячий, и я принялась собирать на стол. Поставила большую сковородку картошки, соленых огурцов из подполья достала, хлеба нарезала и велела папе подвигаться к столу — поесть горяченького — быстрее согреется. Снова слезила в подполье, достала капусты да в ковшике бражки. У папы и глаза чуть забле-

стели при виде той бражки. Поставила перед ним кружку, ложку положила, хлеб нарезанный пододвинула, сама стала чистить луковицу да крошить в капусту, а ему сказала:

— Папа, бражка не холодная, попей пока хоть маленько, вон огурчиком заешь, а я тем временем в капусту покрошу лук да маслом полью. Ребятишки! Вы тоже есть будете? Если будете, то мойте руки да садитесь.

— А дедушка не будет мыть руки?

— Он же из бани! — улыбнулась я папе и подлила бражки, налила полкружки и себе, и принялись за еду. — Ты уж прости, папа, что ждать пришлось, да еще после бани...

— Да ниче, Марей. Не шибко я и замерзнуть-то успел. Зато вот сразу к столу, все горяченькое... Ну дак на здоровье! — Выпил кружку молодой бражки, взялся за еду. — Витя-то не скоро еще придет, не знаешь?

— Да, наверно, вот-вот подойдет, если опять в шахматы играть не свяжутся. А ты ешь, папа, ешь. И вы, ребятишки, или ешьте, или выметайтесь из-за стола! — припугнула их. Но у Андрея уж нос вспотел — очень они любят жареную картошку.

— Марей, я бы, пожалуй, полежал, отдохнул маленько, а после с Витей, если дак еще чего поем, чай тоже после попью. А сейчас так хорошо поел.

Я постлала на наш старенький кожаный диван ребячье одеяло, подушку. Он снял валенки и как-то со вздохом лег. Я кое-что прибрала на столе, коль чай будем пить все вместе, взяла вязку — варежки вязала всем троим, смешала шерстяную нитку с ватной; Секлета напярла вату, да так ровненько и нетолсто, просто замечательно. Подсела к дивану, а потом спросила:

— Папа, ты, может, поспал бы маленько, подремал, я ребятишек на улицу спроважу, а сама возьмусь за дело тихое — дел всегда хватает...

— Да нет. Спать-то, пожалуй, не стану, ночь впереди, а они, ночи, чего-то долгие сделались. Иной раз лежу, лежу...

— Ты не заболел ли, папа? Чего беспокоит-то? Ноги болят или руки, или поясницу ломит? Столько за жизнь-то переделал — не все и припомнишь.

— Я уж ниче матери-то не говорю... сам виноват... да теперь что поделаешь...

— Что случилось, папа? Ну мне-то ты можешь сказать...

— Да и скажу, куда деваться-то? Тебе и скажу... Еще прошлой зимой, — негромко и смущаясь начал рассказывать папа. — Утянулся я к куму Николе, в Митрофановку... Видимся редко, а кумовья все же, да и праздник — Ммасленая неделя. Незадолго перед этим он тоже пришел покупать муку по заборной книжке. Я по этому же делу в магазине оказался. Припас и деньги, и меш-

ки на обмен. Мать в ларе уж по дну нет-нет да и шоркнет совком... Вышли, покурили, и тут он предложил, мол, я ведь на лошади, дак неужели она, кляча ленивая, шесть мешков не довезет? Я, говорит, к вам подверну, сгружу мешки, скажу, что так и так, встретились с тобой, ты деньгами рассчитался с продавщицей, но тут тебя перехватили, чего-то, скажу, в контору позвали, вот я и привез. А Семенович, как управится с делами в конторе, так и явится. А ты, говорит, где около покури, подожди, я же с Андреевнкой ласы разводить не стану — ни ей, ни мне нет на это время. А после мы с тобой к нам. Старухи нет — уехала на Масленицу-то на родину погостить, а мы с тобой у нас погостим.

А я, Марей, хоть верь, хоть нет, сроду мать не обманывал, даже по молодости, а тут мне бы поспроотивляться, а я согласился, слова возражения не сказал. — Папа помолчал, не то, чтоб дух, как говорится, перевести, не то от смущения — легко ли во грехах-то признаваться... до старости дожил. — Мы и засиделись. Сколько той бражки выпили — кто мерял? Однако домой-то идти все равно надо. А так мы хорошо посидели, побеседовали, два закадычных друга. Дядя помог мне одеться, обнялись, поблагодарили друг друга за компанию, и он проводил меня до путей, чтоб под поезд не попал, насылался и до дому проводить, да я не согласился — время уж позднее, самому отдыхать надо, а мне торопиться некуда: семь бед — один ответ, потихоньку дойду, а если мати спит, дак потихоньку разуюсь, разденусь да и улягусь. Можно бы в бане ночь переспать, но баня топлена уж давненько, выстыла поди... И только я все обдумывать стал, не заметил, что с тропинки-то маленько меня отвело, а там камни, всякий чутунный хлам...

Папа отвел глаза и долгонько молчал — переживает. Я не торопила.

— Марей, время-то уж много, пожалуй, чай попьем, да я потихоньку и домой пойду. Мати знает, что уж если в баню пошел, то скоро не жди: с мужиками встретимся, потом поговорим, потом намоемся, друг дружку напарим, после, когда отдышимся, пива попьем и тогда уж по домам. Но теперь уж все равно пора.

Я чашки-блюда на стол, самовар подогрела, чай заварила, пряников на тарелку насыпала и подошла к дивану, погладила его по голове, по плечу и напонила насчет чаю.

Папа, поморщившись, тяжело сначала сел, потом встал, ополоснул холодной водой лицо, утерся и сел за стол.

— Папа, чего же все-таки случилось тогда? Упал, что ли?

— То-то и оно, что упал да, видно, кость повредил. Снаружи-то ничего вроде не видать, синяк и синяк, токо короста появляться стала, и я, когда уж в баню иду, дак остерегаюсь, чтоб не намочить и приспособил старенькую портянку, обвяжу, чтоб штана-

ми не шоркало по больному... а так тепло... что поделаешь?

Мы, не дождавшись Витю, отправились его провожать. Проводили до дому. Мама квашню заводила, поглядела на папу — ничего, вроде не пьяный, как всегда, только спросила, чего уж долго-то больно? Он и сказал, что, мол, у Марии посидел маленько, отдохнул, оглядел у ребятишек обутки — ничего, пока терпят, к Толькиным катанкам надо бы заднички подшить, пропинал уж, варнак. Да и метлу бы насадить надо, ну это уж потом, время есть, торопиться больно некуда.

Я между тем, пока бабушка внуков шанежками угощала, отозвала Азария к лесенке и сказала, чтоб осмотрел у папы ушибленную ногу — давно, говорит, зашиб, шел со станции да поскользнулся на рельсе, упал, и с тех пор все болит, болит. Я хотела посмотреть, да не надо, сказал, тогда вот и решила, что тебе-то он покажет больную ногу.

Я ждала, не торопила ребятишек, что уже темно, — ничего, дойдем. Замочила белье у мамы, приготовленное на стирку, грязные места хорошо намылила.

— Мама, что Оська Кропачев все еще мыло варит? — спросила я про соседа. — Такое мыльное, пены много и на вид красивое...

— Варит, как не варить? Жить-то надо. Теперь уж только не такое, как бывало, но все равно хорошее. На днях приносил. У отца нога гноиться стала, кальсоны отстирывать трудно, только оно и помогает. А нога, видать, сильно болит — ночами стонет... не дай, Господи. Спрашиваю — ничего не рассказывает, мол, болит и болит, што сделаешь? Вон экземой-то как маялся, да прошло. Может, и сейчас пройдет. Пока тепло было, старался больное место на солнце греть, да ребятишки везде поспеют, куда не схоронится — найдут, выбирает время, когда и Толька, и наши в садике...

— Ну, ладно, нам ведь и домой пора, — погромче сказала я, чтоб слышал Зоря и сказал бы, чего там у папы. И в это время позвал папа.

— Марей! У вас ребячьих чулков много, дак обрезала бы носки, а голяшки-то так хорошо облегают больное место, и белье не пачкалось бы, а то матери все стирать.

Азарий, провожая нас, сказал, что у папы болезнь не шуточная, надо бы в больницу, похоже на костный туберкулез. А уж как он, бедный, терпит? Я бы ни за что не вытерпел.

Я маленько посидела возле папы, сказала, что после бани, наверное, полечче будет и поспишь.

— Да уж к одному бы концу. Шибко я, Мария, измаялся... день и ночь сверлит. Мочи нет... стараюсь терпеть, прямо в глазах красные да зеленые искры мелькают.

Приложила руку ко лбу, он не горячий, а липкий пот все вы-

ступает. Положила мягонькое полотенце, чтоб лоб, лицо вытирал, один конец намочила, другой оставила сухим.

Утром вызвали врача. Тот поворчал, мол, под лавку бы больного еще затолкали.

— Я тут привык... всю жизнь вроде и в стороне, когда, бывало, после дежурства днем поспать надо, и темно, и ребят вроде не слышно, семья ведь.

Папа медленно вылез со своей запечной лежанки, мама помогла сесть на лавку, подставила табуретку под больную ногу, для врача на табуретку постелила чистенькую простыню, сложенную квадратом. Мама говорит, мол, когда увидела, что там, под опавшей коростой, заплакала... Когда я забежала к нашим по пути на обед и увидела врача, быстро разделась, вымыла руки и, закусив губы, приблизилась к врачу, обняла папу и шепотом сказала, что я бывшая медсестра, может, чем надо помочь?

— Молчали бы о том, что бывшая медсестра. До чего довели больного? Надо бы ногу отнимать, но у него такие систолы в сердце, такое низкое давление... какая уж тут операция? — Он высоко наложил на ногу жгут, порвал кальсонину, стал обрабатывать рану. Я подаю ватные тампоны и все натираю нашатырным спиртом папе виски. Мама пододвинула детский горшок и врач стал туда скидывать пропитанные кровянистым гноем тампоны. Папа совсем побледнел, кусал губы и сдерживался изо всех сил, чтоб не пошевелиться, не помешать врачу делать дело.

— Ну, парень... извините, доктор, однако мне уж боле не стерпеть... — с сипом сказал папа.

— Еще немножко... немного осталось. Прочистим рану. Она вон уж до кости...

Папа обессиленно закрыл глаза и, сколько я ни натирала ему виски нашатырным спиртом — не морщился, не поднимал сложенную на бок голову, не реагировал на резкий запах спирта. Папе подложили подушку под голову, чтоб лег, под взмокшую от пота рубашку мама положила на грудь ему головной платок, чтоб сухо было и не холодило бы потной рубахой тело. Мама безутешно плакала и близко к папе не подходила, чтоб не расклеивать его еще больше... А папе было уже все равно. Он так устал, так страдался, что впал в полусон, лежал недвижно и только время от времени шевелил сухими губами — просил попить...

Врач заложил в рану тампон, густо смазанный коричневой, неприятно пахнущей мазью, забинтовал ногу, попросил мягкое полотенце, чтоб завернуть ногу поверх бинта и взглядом показал мне, чтоб приподняла ногу за пятку, расправил порванную штанину кальсон, увидел у мамы в руках байковое одеяло, накинул его отцу на грудь, подоткнул с боков и наказал, что нужен полный покой и сколько будет спать — будить не надо, пить можно

давать домашний квас или кипяченую прохладную воду. Если потливость не прекратится, осторожно промакивайте пот с лица, но не беспокойте больного. Что вечером зайдет, посмотрит.

Я не дошла до дому, чтоб пообедать, выпила у мамы стакан молока с хлебом, и то через силу, и пошла на работу.

Антонина Николаевна — моя начальница, она же — моя золовка, жена брата, сначала почти с криком начала мне выговаривать, что взяла моду приходить на работу когда вздумается. Я не могла ей возразить, объяснить и вообще что-либо сказать. Уливалась слезами, уронив лицо в ладони, только кивала, мол, все понимаю, что виновата... Тогда она подошла ко мне:

— Мила! А что, собственно, случилось? Я говорю о работе, которую надо выполнять, раз здесь работаешь...

Я опять покивала. Тогда Шура Семенова, крестная нашей Иринки, решительно подошла к столу редактора и сказала, мол, если можете, оставьте человека в покое. От радости не плачут, неужели не понимаете. Когда в редакции мы остались с Тоней вдвоем, остальные разошлись по своим участкам, я сказала Тоне, не глядя на нее:

— У нас тяжело заболел папа... очень тяжело. Я не на обед ходила, я была там, у папы...

Работа никакая мне на ум не шла. Позвонила Вите, сказала, чтоб он взял детей из садика, а я буду у наших — очень заболел папа. Когда я пришла туда, отец Константин пособовал уже папу, мне кивнул, я поклонилась и поцеловала его подставленную руку.

— Теперь на все воля Божья. Семена Агафоновича тревожить не нужно, а это все: крупу на блюдечке, иконку в изголовье, свечи, воду святую в стаканчике — можно прибрать. Свечи и иконку — к образам положите, а все это отдайте птичкам.

Мама начала было хлопотать с угощением, но отец Константин легко, необидно отмахнулся, вам, мол, сейчас не до этого. Я помогла все принадлежности, которые для соборования, собрать, и кадило, и елейное масло составила на столе, чтоб отец Константин сложил все по-своему. И тут на полу увидела темную змейку — жгут, забытый врачом.

Проводила священника, поблагодарила еще раз и пошла домой, в гору. Думаю, какой же сильный и выносливый был мой папа в молодости, если сейчас, весь больной и изношенный, и в себе терпит такие муки. Господи! Хоть бы ему полегчало... Пыталась представить его на одной ноге, с костылями, а ему и двух-то ног часто не хватало... Хотя всем казалось, да и мне тоже, как папа умело работает, дело любое делает, вроде и не ходко, как говорят у нас, на Урале, а податливо.

Вот в Витебске побывал, а память на всю жизнь, а и побы-

вал-то как? Был там на солдатской службе. Потом-то, когда стал получать как железнодорожник бесплатный билет, побывал в Москве — ездил не на нее поглядеть, столицу белокаменную, а побольше купить товару: мануфактуры, чтоб всех ребятишек обшить, да и взрослым чтоб хватило. Купил маме коричневого кашемиру на выходное платье, и она его сшила, да так удачно, что в нем и в церковь, в нем и в больницу — немарковито и прилично, черный шерстяной полушалок наденет, платье кашемировое, чулки коричневые, но не самовязки, а магазинные и полуботинки на шнурочках. Вот и весь наряд. Папа иногда, бывало, посмотрит ей вслед, если она так вот приоделась и пошла, скажем, страхового платить или в аптеку, и скажет вроде с нежностью или со скрытой гордостью: «Вот оделась и пошла, куда надо, и одета не хуже людей — дешево и сердито...»

А сам всю жизнь в толстовках. На работу ходил в спецовке, а дома в толстовке. У мамы они удачно получались, то из чертовой кожи, то из фланели, то из диагонали, бывали и синие, и черные, и темно-серые. Сверху кокетка, сзади с подоплекой, а от кокетки по две глубокие складки по ту и по другую сторону от застежки, и карманы внутренние вшиты, тоже с обеих сторон, в одном кармане кисет с табаком да спички, в другом носовик — половина износившейся наволочки, мягкая, легкая, удобная одним словом и ни с каким носовым платком не сравняется, в тот-то и сморкаться вроде жалко, а тут — волявольная. Были у него, конечно, и рубахи праздничные, особенно красивая была коричневая в белый мелкий горошек да синяя, из сатина, но смотрелась как шелковая. И брюки выходные, и даже лаковые сапоги на высоконом каблуке, еще в магазине у купца Гомозова куплены, но делали раньше все прочно, да и носили не каждый день, только на выход.

Я шла и думала: вот выздоровеет и пусть почаще наряжается, даже когда к нам пойдет.

Ребята уже спали, Секлета полы мыла, — говорит, самое то удобное время — вечером вымыть полы: никто не топчется, не шлендает туда-сюда, к утру просохнет, и пол как новенький. Витя лежал на кожаном диване, газеты читал и намекал, мол мужики на выходные на рыбалку собираются, на Кутамыш.

— Мужики? На Кутамыш?

— Да, мужики. Да, на Кутамыш. Не знаю, как мне быть?

— Ну, если ты тоже мужик, то тоже надо ехать.

— Чего-то ты сегодня вроде как с подковырками, а?

— Да нет. Выходные еще не завтра — послезавтра. Надумаешь, поезжай...

Мы маленько с Секлетой поговорили, она увидела мои заплаканные глаза, наклонилась, в лицо заглядывает, взглядом

спрашивает, мол, что случилось? Я так же молчком ответила, что пока нет, слава Богу.

— Давай чаю попьем.

— Ну, вот домою — и попьем.

— Ну, тогда ладно и так. Очень мне надо лечь. А вы кто как хотите, может, с Витей попьете? — Напилась холодной воды, умылась, разделась и легла, ровно провалилась.

И только вроде успела уснуть, вижу сон: папа копает картошку, прямо у самого крыльца, откидал снег подальше, разгреб даже не застывшую, а сочную, зеленую ботву и как всадит вилы, так и выворотит гнездо картошек, крупных, кремовых, одна к одной! Я только хотела удивиться: зимой — и картошка, да какая! — и сон ушел, зато какая тревога охватила, хоть вставай да беги... не то к нашим, не то куда. Лежу с открытыми глазами и явственно вижу те картошки у крыльца, только что выкопанные. Тихонько разбудила Секлету и позвала в кухню. Она неслышно встала, смотрит на меня испуганно. Я дверь в комнату притворила и тихо-тихо стала ей говорить о том, как вчера было плохо папе, а сегодня вот картошка эта во сне привиделась. Не к добру это, чувствую... «Я сейчас пойду к нашим, а ты потом ребятшек накормишь и сама или Витя проводите в садик».

— Да ладно, ладно, — торопливо шептала Секлета, — только времени-то ведь еще пять часов. Не забоишься идти-то?

— Да нет, не первый ведь раз, и на станцию хаживала. Ну я ушла. Закройся тихонько и еще поспи.

Стучу то громче, то тише — вроде бы и не разбудить, не испугать, и чтоб кто-нибудь, да услышал.

Дверь открыл Азарий. Смотрит на меня, будто и не верит, что перед ним я, сестра его родная.

— Ты как узнала?

— Чего узнала?

— Что папка-то умер...

— Я не знала... я только чувствовала... Накинь на себя чего-нибудь и давай вот здесь маленько посидим. Я так... сразу... не могу.

Азарий рассказывает, что пришел домой вчера поздно, в кино с Софьей ходили. Смотрю, папа спит — он еще живой был, он спал на лавке, и удивился: почему здесь, на лавке, а не на своей запечной лежанке? Подумал, тут ему лучше, или лежал да не заметил, как уснул, и его не стали будить: тревожить. Мама не спит, сидит вон там, ничего не спрашивает, ничего не говорит, только смотрит на папу прямо неотрывно, словно ждет: он вот-вот проснется, пить запросит или... Я ушел к себе спать. Таисья уже спала с Толькой в обнимку. И скоро слышу: мама трясет меня за плечо: «Сынок, встань, проснись... уж ладно ли чего с отцом-то? Может, к Иосифу Григорьевичу сходить, позвать,

чтоб посмотрел, послушал, к тому-то врачу, в железнодорожную больницу, идти далеко... Спустись в кухню-то, погляди...»

— Ну вот, я и поглядел, а он уж едва теплый, уж не дышит, только селезенка как-то странно хлопает... Ну, ты иди, а я к Чернобровым.

Я припала к папиной, такой доброй и уже охладевшей, груди, плакать не могу, только задыхаюсь... Пришел Черепанов — сосед, и прямо следом за ним и Чернобров Иосиф Григорьевич — фельдшер «скорой помощи». Сели на подставленные мною табуретки перед лавкой, на которой лежал папа, и стали тихо переговариваться. А мама только шмыгает носом, старается-то тихонько, да как уж тут тихонько! Наладила самовар, чтоб горячая вода была, полушепотом показывает мне, где взять новую печатку мыла, полотенчико вместо мочалки, где клеенка — чтоб подстелить... Чоб простыни из сундука поновей достала, где в ящике лежит полотно и черный сатин, шла бы вверх, доставала бы машинку на стол да и принималась бы шить. Тапочки, белье ниже и верхняя одежда: рубашка сатиновая и брюки новые, и носки, хотя тапочки-то отдали, когда Егор Малофеевич умер... А как магазины откроют, надо купить метров пятнадцать синего, черного ли сатину — гроб-то обить — да полотна, да цветов хоть немного — не молодой, конечно, а цветочков все одно надо.

С Азарием поговорили, и он пошел к дяде Сереже Логинову, чтоб про горе наше сказать и чтоб гроб делал... А ты, Мария, зайди в свою сапожную мастерскую — может, там готовые тапочки есть, и Сергею бы позвонить надо — Тоня-то на работу не рано приходит, а время идет.

Иосиф Григорьевич скоро ушел, чтоб выписать нужные документы, с которыми в ЗАГС идти да и могилу копать, могут потребовать свидетельство о смерти. Черепанов да подошедший дядя Володя Камелин стали обмывать папу: один поддерживает со спины, другой голову моет, так по переменке, с бережливостью и обмыли папу, приготовили в последний путь.

Клава с Иваном Абрамовичем пришли уже к вечеру — далеко им идти-то пришлось.

Папу, обмытого и одетого, положили на узкое дверное полотно, чтоб легче потом перекладывать в домовину, а он покорно принимает все, что с ним делают. Пригласили Марию Сергеевну Поплаухину, чтоб почитала над усопшим. Я ходила туда-сюда, то в дом, то из дому и все смотрела на то место, где папа ночью копал картошку. Никаких признаков, ничего такого, чего хоть малость какую напоминало о ночном действе.

Секлета написала заявление — заказ, что приготовить на поминки: дома-то кому этим заниматься? И привезут готовое, да чего сами сготовим, и будет чем помянуть.

Зоря и Сергей занимались мужскими делами, договаривались с машиной, с автобусом-катафалком, получили документы. Секлета принесла из столовой в судах обед, и мы накормили своих работников, копальщикам Азарий унес на кладбище еду и выпивку. Только ни о чем и ни о ком не хлопочет, не заботится папа. Я старалась не отходить от него — как хорошо, что жила у нас Секлета, преданный и добрый человек. Я посидела на папиной седухе, которую загнали в угол, и, сидя на ней, смотрела в окно и видела то, что видел с этого места папа, посидела у изголовья гроба, погладила седые крупные волосы, не кудельно-мягкие, какие бывают в старости у людей, особенно у мужчин; лицо успокоенное, глаза плотно смежены, а с рук так и не удалось до конца отмыть дратвенные полоски, так эти его руки-труженицы и покоились на его груди, хотела сказать — прокуренной, но он никогда не курил взятжжу, только пышкал, только дым пускал, а без курева не мог... Как придет, бывало, к нам, поужинает с нами, с ребятишками ласково поразговаривает и за дело примется: то метлы насадит, то лопаты наточит, катанки подошьет, попьет маленько бражки, передышку себе сделает и снова за дело. А когда домой уходить станет, непременно скажет: «Как я славно тут у вас побыл, ровно в гостях погостил». Теперь уж отгостил навсегда. Папа умер 16 февраля 1953 года. Хоронили его днем. С утра была холодная, дурная февральская погода, ветер, пурга, не успели еще миновать угол нашего длинного огорода, ветер стих, пошел тихий снег, за дорогу от кладбища чуть припушил цветы, положенные в гроб, узенькая белая полоска обозначила на лице разрез губ, на руках снегу почти не было...

Я плохо помню, как все было дальше, потому что крепилась изо всех сил, чтоб не разрыдаться. Зато уж потом, осознав до конца, какого близкого и родного человека у меня не стало, — этого чувства мне не передать... похоронили, и дороже на свете человека у меня ровно и не было... Переживаю все это очень трудно. И опять мне кажется, что я всегда и во всем опаздываю. Вот опоздала сказать папе самые, только единственно к нему относящиеся, нежные слова — не успела сказать, опоздала...

И годы идут, не дни, не месяцы, а годы, и по годам я уже пережила своего папу, но не бывает почти дня, чтоб я не вспомнила о нем. Иной раз так бывает трудно — ложись и умирай... и тут уж непременно услышится из далекой дали папин голос, как он по-житейски мудро говаривал: «Иной раз подумаю — дак хоть не живи, а раздумаюсь — дак хоть заживись».

Я не печалюсь лишь тем, что хоть я как бы и пережила его годами и, даст Бог, проживу еще — и буду его поминать, кроме меня, оставшейся в живых из такой-то большой семьи, уж ни-

кто не помянет его, не расскажет о нем внуку Андрею, правнукам Вите, Жене, Полинке.

Царство тебе небесное, дорогой мой папа! Спи спокойно! Спасибо тебе за меня — Мареею, — меня ведь никто, кроме тебя, так не называл. А я этим именем, тобою нареченным, горжусь. Сколько во мне есть доброты и любви — это ты вложил в меня, назвав Мареей. И я, пока буду жива, буду стараться быть достойной этого имени и тебя, дорогой мой отец.

Мама редко просила меня о чем-нибудь таком, «деликатном», так сказать. Однажды я забежала попроведать ее, узнать, есть ли лекарства, да чтоб были под рукой, спросить, чего ее больше всего беспокоит, может, чего в магазине надо купить, так я бы купила.

Пришла, мама сидит в своей полутемной спальне, сгорбившись, тоненькую свою косицу расплетает, говорит, мол, чтоб легче голове было, а то она вроде стягивает, и голова болит сильнее. Я расчесала ей волосы, по спине легонько погладила и, почувствовав, как сильно она исхудала — кожа да кости, как говорит, — едва не разревелась.

— Мария, не знаю, как и попросить... ты шибко занята?

— Да нет. А чего, мама?

— Мария, вымой меня, если сможешь... Тася где-то все, говорит, на работе, то в командировке, то еще где. Такая непутевая девка выросла. Я бы и сама, да не проворю. Баня натоплена, вода есть. А мне, может, полегчает.

Я нашла в ящике белье, кофту теплую, юбку, платок, носки — еще самовязки сохранились, полотенце, а сама глотаю слезы да про поговорку думаю: «Дитя не плачет — мать не разумеет». А тут... бедная мама, может, уж месяц не мылась, а мне невдомек... А ведь было время, когда я еще и раздумывала — ехать домой или туда, где полегче прожить можно... Господи! Сколько она нас вырастила, а теперь, чтоб помыли ее — из милости просит, будто я не дочь. Помогла я маме раздеться, воду в двух тазах приготовила, на полоч старенькую простынку, пеленку ли подстелила — чего нашла в ящике, сначала усадила маму на лавку, но лучше ей лечь — она согласно кивнула, и я, не очень ловко ее поддерживая, уложила на теплый полоч, под голову распаренный веник, завернутый в старую, ее же, наверное, юбку, подложила, сверху, как маленьких купают, прикрыла полотенчиком и стала мыть. Мою и захлебываюсь слезами — руки у мамы детски тонкие, мышц нет вовсе, только кожа обвисла, шея — одни жилы, живот такой впалый, что если и нарочно втягивать — не втянуть так, ноги как неровные палочки,

а кисти рук да ступни — большие — все еще напоминали, что когда-то были крепкие, сильные, выносливые...

Мама расслышала, что я плачу, носом швыркаю, сказала:

— Что сделаешь, старость — не радость...

Я поливаю ее поверх полотенчика горяченькой водой, она маленько отдышалась и говорит:

— В иное время платяг расставляла, чтоб пошире, посвободней, особенно после родов, а теперь... одно остожье осталось. Ты, если не шибко устала, потри и спину, да попушке, вехоткой, чтоб чувствительно было. Я долго ждала-мечтала вымыться в бане, чтоб кожа на теле скрипела. Ты три, не бойся, мне ведь не больно, да если и больно станет, дак стерплю, зато баню почувствую. А теперь еще маленько пополивай горяченькой-то водой. Я полежу, отдохну и тогда голову мыть можно, веник под шею сместить, чтоб удобней было мыть. — Долго мы с нею мылись, когда окатила ее горяченькой водой из ведра, мама велела мне, чтоб помогла ей сесть. Я хорошо вытерла маму, волосы, надела нательную рубашку, затем кофту, юбку, на ноги носки теплые и ссадила ее с лавки, поставила ноги в приготовленные татарские галоши. Приоткрыв дверь, надела на маму стеженую жакетку, шаль поверх платка накинула, и только мы засобирались выходить в предбанник, там увидели Азария, удивились.

— Долго больно вас нету, дай, думаю, попроведаю, а то и помогу. — И он сноровисто взял маму под мышки и шаг в шаг повел ее перед собой в избу.

С того времени я особенно остро почувствовала, как давно болеет мама, как многолетняя усталость все больше наваливается на нее, а она еще находит в себе силы топить печь, варить еду и много чего делает по дому, и такая пронзительная жалость к ней поселилась во мне — нет у меня слов, чтоб передать это. Пока шла тогда домой, о чем только не передумала: вот они, родители, все силы истратили, забываясь о нас, чтоб были сыты, одеты, обуты, да чтоб здоровы... А тут.. не только старость накатила, тут и беды одна за другой. Скорей бы Толик подрастал, чтоб мама хоть маленько отдохнула и пожила бы подольше. От нас помощи почти никакой, живем пока тоже в такой нужде — не сказать. Одна пока живет в нас надежда: молодые, здоровые пока, пусть и не совсем здоровые — войну же прошли, но зато живы остались. А мама с папой в войну пострадались, сыновей двух не дождались, и потом — столько всего было и есть... Бедные и безмерно дорогие мои родители... Теперь вот уж и папы нет... хоть бы мама пожила...

Я хочу вернуться к тем дням, когда пришло письмо от мамино-го отца, Андрея Прохоровича Логина, что если, мол, пустите, так

приехал бы, а то не знаю теперь, куда на старости лет деваться. «Партейцы да начальники осмотрели наш дом и подворье, решили, что все в порядке, простоят долго и в нем, большом и крепком, самое лучшее дело — разместить главную контору. А мне сказали, мол, столько у тебя родственников да детей — неужели бросят на произвол судьбы родного отца?! Я, — пишет Прохор Андреевич, даже не сам, а кто-то за него, — хотел им сказать — объяснить, что в нужде, но в своем доме — уж что там у вас за хоромы? Живет только старшая дочь в своей избе, так у нее своих детей девять душ, да сын возле них ютится, да младшая дочь, покалеченная оспой — руки ни согнуть, ни разогнуть, — тоже на сестриной, значит, на шее моей старшей дочери живет, и младшему сыну со снохой, как он вернется с военной службы — куда деваться? И чего вам дался этот дом... нету других-то разве? Не для вас ведь все это строено, вся жизнь вложена в него?.. Слушать не стали, потому что разумно чего-то решить они не способны. Главных мужиков и работников в Митроках почти не осталось, вот добрались до нашего брата. Напишите мне, из милости прошу, как быть? Если примете, я и под порогом спать согласен, недолго уж осталось, а если нет, так хоть камень на шею... Напишите, из милости прошу. Как посоветуете, так и сделаю. Если нет у вас возможности меня принять — не считайте, что грех на душу примете, — какая разница: годом раньше, годом позже сойду в могилу... Пропишите, из милости прошу. Ваш тятя Андрей Прохоров сын».

Мама с неделю, наверно, выла, уткнувшись в фартук, а ночи напролет на коленях перед Спасителем стояла, молила Господа вразумить грешников да не ввести в заблуждение раба Божьего Андрея, отца ее родного... Ушли веселье и благодать из нашего дома. Папа почернел, мама мечется: то к ребенку, то по хозяйству чего-то делает, а как только прервется, так и завоет...

Нам, от мала до велика, так сделалось страшно жить, так было жалко папу и маму, что мы уж и играть не выходили, искали заделье — посильную работу, которой пока ни папа, ни мама заниматься не могли — руки не доходили.

Но мир не без добрых людей. Пришел к нам как-то дядя папин, Николай, — они и кумовья, да виделись редко. Сказал, что от Сергея Андреевича прослышал про письмо Андрея Прохоровича, думал, думал — чтобы к вам-то прийти хоть с советом, если не с помощью, и сказал, что, мол, строиться вам надо, что вон уж и срубы вам в Митрофановке сторговал... Велел маме ставить брагу, а он с кумом, да еще мужиков двух тамошних подберут — и раскатают те срубы, разметят и при первой же возможности перевезут их сюда. Велел позвать Сергея Андреевича, чтоб он, как самый в родне грамотный, написал бы Андрею Прохоровичу письмо, что скоро за ним приедем, — тут уж решите сами, кто за

ним поедет, ведь надо и там как-то с умом распорядиться, не все, поди же, при раскулачивании-то отобрали. Взять бы швейную машинку, что из одежды, обувь какую, да из белья — на себя, соберемся деньгами, кто сколько сможет, где и перейдем, и надо старика оттуда вызволять. «Я бы сам поехал, — сказал дядя Николай, — дак ведь напыюсь обязательно, и руки зачешутся, и кулаки в ход пойдут, а в данном случае это распоследнее дело, этим только навредить можно. А я на ото очень способный: вятский — мужик хватский! Андреевна, кума, а сейчас-то у тебя бражки не найдется, хоть с полковника бы...»

— Я сейчас в лавку сбегая, зеленого вина куплю... Так ты нам, кум дорогой, помочь взялся...

Но тут папа в разговор вступил:

— Никола! Кум дорогой! Дай нам маленько это горе пережить, потерпи с неделю, если можешь... А так, не сомневайся, уважим, как самого лучшего друга. Только неделю нам дай отсрочки... погляди на нее... А у нас ведь ребенок маленький, кабы хуже не наделать... Сколь живем, так трудно еще не жилось... но Пелагия правильно говорит: раз взялись жить — надо жить.

Новый дом, в полтора этажа, решили строить посреди огорода, чтоб и от линии подальше, и от ручья, на сухом, хорошем месте. Огород постепенно разрабатываем.

И тут уж пошла работа. Артель мужиков копала канавы под основание дома. Когда положили первые венцы бревен, тут же принялись выкапывать подполье — как без него?

Главным руководителем или прорабом был мамин брат Сергей Андреевич. Очки сдвинет на лоб, карандаш за ухом, походит, посмотрит, где чего подскажет и занимается делом ответственным: делает подушки и косяки для рам, феленчатые двери, рамы; уносит за стайку и прикрывает их сначала холщовой матрасовой, а затем заставляет старыми широкими воротами — об этом знает только он и нам настрого наказал не только туда не подходить, но и никому ничего об этом не говорить. У тети Таси главное и ответственное дело было кормить, в первую очередь нас — ребят, и чтоб мама обязательно поела. После еды мы с Калерией мыли посуду, перетирали, мыли и насухо протирали клеенку и накрывали стол для работников. После ужина они норовили подольше посидеть, но пока стоит погода, утягивались один по одному на сеновал, иные даже и в баню не заходили, чтоб ополоснуться как следует. Работали, можно сказать, до упаду...

Я не стану продолжать описывать подробности строительства нашего нового дома, только с удивлением замечу: когда дом подвели под крышу, соорудили и вверху, и внизу чуланы — где можно было до поры-до времени спать, а к Прохору Андреевичу тем временем уехали папины племянники, случившиеся у нас в

ту пору, — ехали-то погостить, да пока дело обернулось иначе. И еще: трудно представить, как мужественно, самоотверженно и мудро решились мои родители на великий подвиг. Постройка дома моими родителями в теперешнее время могла бы послужить показательным уроком самоотверженного и мудрого хозяйствования, когда все шло в дело: старые гвозди выпрямлялись и прибирались, опилки шли на подстилку корове, щепка на растопку, если кого-нибудь зачем-то или куда-то посылали — все выполнялось безоговорочно и делалось на совесть.

Когда дом был уже под крышей и внешне оставалось подшить карниз, прибить наличники, а внутренняя отделка — работа тщательная, неторопливая, с продуманной планировкой, если сказать об этом громко, то есть чтоб каждый угол и перегородка служили бы пользе, — из небольшого дома надо было извлечь наибольшую полезную площадь, но все это делаться будет уже под крышей, в тепле и, как говорится в пословице: семь раз отмерь, да один отрежь. Мама договорилась с фотографом Гуссином, обговорив с ним день и час, чтоб все были в сборе.

Шумно и весело шли приготовления к предстоящему событию. На окна повесили новые филейные шторы в пол-окна, которые мы сами расшивали белыми нитками, по рисунку «засталя» белые розы и резные листья, а по низу кисточки. На одно окно поставили трехламповый приемник, смастерил который Сергей — младший, то есть не дядя, а брат, на другое — несколько цветущих домашних цветков в красивеньких кастрюлях с пронесившимися донышками.

В центре, на почетном месте, на табуретке сидит дедушка Андрей Прохорович Логинов, а вокруг его дети, внуки-правнуки, зятевья-племянники, в основном же дед — мамин отец, мама с папой и мы — их дети. После я не раз, подолгу, пока не начинали слезиться глаза, всматривалась в родные лица, и мне некому было сказать: смотри, ты-то какой был! А ты! А я! А он!.. Никого уже нет в живых и «...я, как есть, на роковой стою очереди...» — это сказала не я, сказал поэт, но суть мысли — одна, и я благодарю каждый дарованный мне Господом день жизни и желаю, стараюсь прожить этот совсем маленький остаток моей жизни разумно, а она, как «шагреновая кожа»... Фотография эта по сей день хранится у нас дома.

Мама, вроде износу не зная, надсадила свое здоровье с такой семьей да со строительством дома. И хотя подрастали уже помощники, но дети становились помощниками, естест-

венно, медленней, нежели возрастали заботы, расходы на жизнь и всякие житейские сложности, и требовали от родителей все большего напряжения и сил. Спасало, что в трудную пору семья наша была на редкость дружна и трудолюбива, в школе мы учились хорошо, в отличниках не ходили, но и в двоечниках не числились, никто на второй год не оставался.

Мама надолго слегла с сердечной болезнью и, преодолевая боль, руководила жизнью, лежа в постели. Мне трудно без слез вспоминать, как она много раз умирала, лежа в постели, когда жизнь ее висела на волоске, но оживала и опять бралась за дело по дому, в огороде и на покосе.

Война уже давно кончилась, а горю все нет конца... Калерия умерла, ушел из жизни Вася, потом умер папа — опора жизни и постоянная, надежная поддержка мамы. А тут еще заботы по дому. Кончилось сено, чтоб кормить корову, пришлось ее продать, и мама вместе с Тасей сходили в горсовет, где располагалась и сберкасса. Иногда, по привычке, ходила с подойницей в стайку — оглядит пустое, уютное стойло, сядет на порог, повоюет, иногда долго, пока не спохватимся, где она, найдем, подхватим под руки и уведем, уложим в постель. А она, постель, наверное, впервые в жизни была сухая — всю жизнь с маленькими на ней.

Теперь вот сухо, одиноко и холодно. Таисья неожиданно засобиралась замуж, жених Николай живет во Всесвятской, Таисья уже беременна... Мама поохала, повздыхала, мол, можно бы и по-людски, что из того, что семья наша бедна, но ведь никто по тюрьмам не таскался, никто не спился, со временем жизнь помаленьку выправится, выберемся из нужды... Мол, привози тогда своего мужа, покажи хоть, посидим, поговорим... Пошла по случаю предстоящего знакомства с новым зятем взять денег из кассы, а на книжке-то всего пятерка... Тася под свою роспись все деньги выбрала — гулять-то надо было на что-то... А чтоб не посадили, вот замуж вышла, забеременела...

Я забегая к маме на обед, а она, бедная, стоит на коленках перед табуреткой, как перед столом... Печка русская едва топится, а мама пьет теплую воду вместо чая, макает в кружку задохший хлеб...

Мы так с ней горько плакали, и когда она смогла перевести дух, крепче ухватила слабыми руками за края табуретки, сказала:

— Мария... не надо... лучше помоги мне дойти до постели...

Я сняла с нее старенькие катанки, укрыла одеялом, в грелку налила из чайника горячей воды и приспособила к ногам.

В это время пришел Зоря, сказал, что в командировке был, вот вернулся.

— Мама, ну как ты?

— Жива пока. Мария вон к себе зовет, чего, говорит, прибегу-убегу, а ты все одна да одна... Может, на время перебраться к ней? Правда, Вити нет и как...

А мы уж тихо договариваемся, на чем ее везти? Лидии Григорьевны нет, без нее вряд ли лошадь дадут... «Да мы ж ее на санках, в кошевках — они большие и широкие, и с бортиками как бы... Они ж на вышке...» — и, не договорив, брат вышел из избы, и скоро вернулся, с горькой улыбкой сказал маме, что карета подана, погладил ее по голове и сел рядом, а мне велел там все подготовить: подстелить папину шубейку, на нее детское одеяло, шубу оденем на маму, в изголовье подушку, а сверху одеялом накроем...

Азарий устроил маму в сани, закрыл ключом дверь, сменил веревку на более крепкую... И мы двинулись в путь. Мама сколько могла, еще выпрастывала голову, чтоб посмотреть на свое родное жилище, а потом плотно закрыла глаза и плакала молча.

Маму определили в ребячью комнатку в доме на Нагорной улице, откуда мы потом будем уезжать в Пермь. Комнатка, правда, проходная, но самая теплая. Азарий сидел в кухне, подтапливал печь, грел воду, кипятил самовар и ел с ребятами пшенную кашу. А я, как беспомощного ребенка, раздевала маму, велела ребятам занести одежду с саней домой, чтоб была теплая. Поила ее теплым чаем с молоком — у соседки Таси брали, мелконько крошила в него белую сайку, сахарок, мелко наколотый, поставила рядом. Мама немного попила-поела и устала, велела все убрать. Когда все ушли из комнаты, сказала негромко:

— Мария, пошупай-ко, как сердце-то у меня... как челнок...

Я притронулась к маминой груди и затем сильно надавила на то место, куда пробивается сердце... Оно и правда как челнок у неисправной машины: то заходит ходуном в ее узенькой, усталой груди так, что она начинает перекачивать голову по подушке из стороны в сторону, то сердце делается маленьким и уходит в глубину и трепещется там беспомощно и суетливо, пытаясь занять свое, для него только определенное в груди человека место...

«Господи! Как ему страшно-то... как оно боится остановиться — ведь вместе с ним остановится в маме жизнь. Как же ему помочь?» — плакала я, склонившись над мамой. Толю послала, чтоб быстрее бежал в городскую поликлинику — она же недалеко, позвал бы Василия Михайловича Трофимова: он все знает, что с мамой... Зоре велела написать телеграммы в Лысьву и тете Тасе — если она не в поездке, чтоб обязательно приезжали, чтоб застали еще сестру-куму живой, Парфеновым — Клав с Иваном Абрамовичем — почту они получают регулярно и сегодня же узнают, и хоть Клава, да приедет. Сергею Зоря обещал позвонить на работу, сказать, что мама плоха. Может, кому

бы еще сообщить, да пока сообразить не могу, а адреса вон в книжке на Витином столе, деньги под книжкой, там же. А потом побыстрее домой. Я буду хоть по частям, да мыть маму. Врач придет — надо, чтобы она была чистой...

Я вымыла, как смогла, маме голову, протерла, причесала волосы, сменила мокрое полотенце, подостланное на подушку. Мама попросила, что отдохнуть бы ей надо, устала. Я заварила кисель на сладком квасу, остудила в сенках и опять, накрошив в него мелконько крошечек, Иринке велела покормить бабушку, осторожно, неторопливо... А сама сменила воду в тазу и начала мыть ноги... А они до того опухли, что меж пальцев просовывала мокрую узкую как ленточка тряпочку, сначала намыленную, затем просто мокрую и, когда перебрала все пальцы, тщательно протерла каждый по отдельности... Так же и пальцы на руках... Под ноги и под руки подостлала детскую желтую клеенку и мыла уже с мочалкой, несильно, но, по возможности, отмывая скопившиеся потные загрязненные места.

— Господи, как хорошо, легко стало... ровно на свет народилась...

— Мама, я не стану мыть тело — ты устала, протру теплым спиртом, скоро врач придет, а ты у нас будешь уже чистой, умытой, переодетой...

— Воля твоя... Только я очень устала...

— Я же быстро, только протру и переодену во все чистое. Я быстро... — Я протирала полуживое, до костей исхудавшее маминое тело, кусая губы, чтоб не разрыдаться вслух. И только переодела ее, уложила, попоила киселем и, собрав грязное белье, собралась унести, в дверь постучали. Сунула белье в чулан, таз с водой задвинула под кровать, открыла — пришел Василий Михайлович.

Поздоровались. Показала, где вымыть руки, полотенчико чистое подала, табуретку подставила и, прислонившись к дверному косяку, приготовилась слушать или исполнять, что посоветует врач. Он долго осматривал маму, слушал трубочкой, поколачивал по спине, по бокам пальцами, думал о чем-то, глядя в полузамерзшее окно. Чего спрашивал — отвечала. На счет больницы отсоветовал: лишний раз тревожить не надо; сделал два укола, на них мама никак не среагировала — не поморщилась, не простонала.

— Пелагия Андреевна, постарайтесь уснуть. Поправляйтесь понемногу, — и вышел в кухню, сказал приглушенно, что на этот раз он, пожалуй, бессилен чем-либо помочь. Она устала жить, и вот из нее постепенно уходит жизнь... Может, месяц еще протянет, хотя надежды на это мало, может, неделю, а то и того меньше... Сколько ей лет-то? Семьдесят два?.. Посмотрим. Вы и завтра выпишите врача на дом, участкового, а приду я... Ну, доброго всем здоровья. — Еще подошел к маме, но она спала.

Я сказала Зоре, чтоб потом зашел... мало ли. А сама соображала: что бы мне для мамы еще сделать, чем помочь... и тут же мысль: а если она умрет — где у нее лежит все приготовленное для крайнего случая? Не могла же Таисия и на это позариться?.. Господи, да прости ты меня за такие мысли. Прости меня, Господи... Это я от горя... прости...

Мама поспала хорошо, часов, наверное, пять, потом вскинулась, спросила: «Сколько-то время сейчас?» Я сказала, что половина восьмого, отставила тарелку с картошкой — ужинали как раз. Подошла к ней и хотела рассказать — напомнить, как, бывало, мы придем с танцев, заберем со стола в кухне кринку с молоком да хлеб — и впробеги по лестнице. Настроение у нас хорошее, натацевались, — и едим хлеб с молоком, а хлеб мягкий, а молоко холодное... И тут слышим: «Девки, ско-ко время?» Мы, не стовариваясь, отвечаем, что скоро одиннадцать. Мама поговорит сама с собой, мол, уж вроде и выспалась, а время еще скоро одиннадцать, а глянет на часы — на них уж около двух!

— Я вот вам покажу, какие одиннадцать! Сейчас ухватом отхожу, дак сразу два станет! Кобылы вы колхозные!.. — постукивает чернем ухвата по последней ступеньке узенькой лестницы, еще поворчит маленько и не то еще поспать соберется, а иной раз, коль уж разбудилась, так печь растоплять примется: пока то да се, пока хлеб выкатает, да пока тесто подойдет, а там уж и отец придет...

Я хотела напомнить маме об этом, отвлечь ее от горестных размышлений, а она вдруг:

— Мария! На меня ведь не утонишь... Обиходила меня, постель вот чистую изладила, все хорошо, только мне ведь домой надо...

— Как домой, мама? Ты ведь даже не ночевала... Врач завтра сюда придет. Спи спокойно, ни о чем не думай. Ребята тихо себя ведут, в избе тепло. Если чего надо — скажи, помогу, сделаю... Чего ж в нетопленную избу, на ночь глядя...

— Я все понимаю, и хлопоты вот лишние со мной, но домой мне, Мария, надо... домой. Обязательно. Сделай милость. Так же вот на санях, как давеча, и увезете, а тут еще под гору, дак и легче... Сделай милость... Христом Богом прошу тебя... Домой мне надо...

Что делать, — думаю, — как быть? И отказать — она же из милости просит... Говорю тогда ребятам:

— Ребятишки! Одевайтесь! Все. Сани подкатите прямо к крыльцу, на них постелите вот этот матрасик и шубу, в изголовье подушку... Мы с бабушкой тихонько выйдем, ты, Толик, поддерживай ее с той стороны, я с этой, а там уж на санки-то усадим или лечь поможем...

И повезли мы мою маму в родной дом снова да ладом... Она молчит, не стонет, не плачет, не оправдывает свой как бы каприз. Через линию миновали осторожно, спустились к ограде. Толя позвал дядю Зорю. Тот вышел, очень удивился, взял маму на руки и понес в дом. А там уж Клава, Сергей и Таисия со своим мужем Николаем... Мне бы о чем-то разговаривать надо, спросить ли, сказать ли. А я поздоровалась и тут же: «До свиданья». Погладила маму по голове, пожалела и сказала, что мы с ребятами к себе пойдем, поздно уж, завтра им в школу.

И всю дорогу проплакала безутешно, какая-то тоже одинокая, без вины виноватая. Ладно, хоть ребяташки тут со мной.

Я не успела уснуть, наглоталась лекарств, голова мне все припоминает, и я не придумаю, чего бы мне ей дать для утешения. На улице холод, звезды небо усыпали. Думаю, как завтра теплее одеть ребят в школу. Отправляю — и напрямик к маме. Как-то она бедная там?... Мне показалось, я и уснуть не успела, только разболевшую голову донесла до подушки, как громкий стук послышался в дверь. Я не то, что испугалась каких непрошенных, недобрых гостей, подумала, что где-то поблизости пожар. Накинула пальто, сунула ноги в катанки и, прикрыв в избу дверь, чтоб не выставляло, спрашиваю: «Кто?».

— Это мы, Маша, — слышу голос Азария. Открываю: стоят Азарий и с ним Николай — муж Таисии. Пропустила в избу, жду, что скажут...

— Маша... — помедлил Азарий, — мама-то ведь умерла... Клава из Архиповки пришла... Сергей. Из Лысвы пока нет. Что делать будем? А Николай с Таисьей приехали часа два назад... как знали...

— Ничего мы не знали. Тасю чего-то повесткой в милицию вызывают, вот и приехали... а тут такое дело...

Я спросила, будут ли пить чай? Оба отказались.

— Тогда давайте так... Сейчас ночь. Я на ногах не держусь — голова разламывается. Витя в командировке. (Он, Виктор Петрович, уже работал в редакции газеты «Чусовской рабочий».) Пусть Клава найдет мамин узелок — у нее где-то все собрано, для этого случая. Посмотрит, чего есть, чего завтра купить надо будет. Придется потревожить Конюшиху, чтоб обмыла, я так-то всю ее вымыла, и голову, и руки-ноги, но все равно... хоть маленько. И сразу пусть они с Клавой маму обрядят и положат на стол, пока гроба нет. — Я посмотрела в старом комоде — Сергей Андреевич еще делал, — нашла пять метров полотна — собиралась шить простыни, да прособиралась. Подала Азарию: — Это чтоб разрезали, хватит и подстелить, и накрыть. Я сегодня не помощница. Утром ребят в школу отправляю и сразу приду. А вы уж там времени зря не теряйте: что лишнее — вынесете в чуланы да

в дровяник, чего и в баню... Но маму обмыть и снарядить надо сегодня же... Может, Клава с Таисьей обмоют. Я же говорю, что сегодня только вымыла... Одеть, уложить — это сделайте...

Азарий спросил: «Значит, завтра утром придешь?» А Николай пожал плечами, шапку на голову кинул, и пошли они под гору... Мама Корякина-Логина Пелагия Андреевна умерла 29 января 1959 года. Похоронена в одной оградке вместе с папой, с Васей, с Калей и нашей Лидочкой. Схоронили родную маму, пережившую за свою жизнь все, что только возможно пережить русской женщине: дала миру девять детей, пять из них отправила на войну, ни разу не была детоубийцей во чреве — чтоб вопреки природе; износила свое сердце в горе да в заботах, была уважительна к людям, добра к детям — свой материнский долг исполнила сполна. Царство тебе небесное, родная мама! Спи спокойно.

Иринка родилась спустя два года после смерти первой дочери — Лидочки. Росла здоровенькая, очаровательная, не по возрасту хитровата, даже иногда по-детски лукава. Ну, к слову сказать. Классная руководительница первого класса, где начала учиться наша первоклассница, на первом же родительском собрании сообщила, что, мол, ваша девочка за четверть сделала тридцать шесть опозданий. На собрание ходил Виктор Петрович и, услышав про опоздания, растерялся: провожаем до калитки, школа через два дома, за углом — и столько опозданий?! Но тут же учительница сказала, что Ира, не дойдя до школы, зато дойдя до катушки, катается в свое удовольствие, является на занятие к третьему уроку, а мне на полном серьезе отвечает, что папа, мама у нее — люди интеллигентные и любят долго спать...

Или ищем дневник по музыке. Учительница жалуется, что Ира пропускает уроки, в дневнике, мол, ставлю двойки и письменно обращаюсь к вам, чтоб приняли меры. Но...дневник исчез, нет дневника! Ищем всей семьей. Иринка ищет тоже. Ни под кроватями, ни в курятнике, под столом, за умывальником — нет нигде. Когда кто-то из нас полез в подполье за овощами — дневник белеет в лазейке для кошки.

Как-то с вечера начавшаяся метель занесла избушку нашу по окна и в ограде намела высокий сугроб у дверей. Утром нам на работу, детям — в школу и в садик, а открыть дверь не можем. Долго возились, и тогда отец сказал Иринке: «Доченька! Нам, сама видишь, не пролезть, давай мы приоткроем дверь, и ты вылезешь, и лопатой, которую я тебе подам, нас откопаешь, сколько можно». Иринка не успела придумать отговорку, как отец вытолкнул в щель и следом протянул ей лопату. Иринка угодила в сугроб вниз головой, как-то выпросталась и заруга-

лась: «Гады! Паразиты! Дураки! Не буду вас откапывать, сидите там», — и то плачет, то носом швыркает, то ругается...

У Иринки много от деда Петра Павловича было в характере, манерах и поступках, особенно в детстве, до удивления много. Только аккуратность его ей не передалась. Тут ближе внук Андрей — всегда аккуратен, не запачкается, ничего не порвет, учится нормально, хотя классная как-то на родительском собрании пожаловалась на него, мол, не работает на уроках. Пришел отец домой и спрашивает у сына, почему он не работает на уроках? Он прямо ответил, что не девчонка, чтобы руку тянуть, надо, пусть спрашивает — отвечу. И весь сказ. И отец не раз говорил, мол, тебе бы маленько от Иринки, а ей от тебя.

Пока ребята наши были детьми — большого горя не знали, но когда стали входить в возраст, тогда наша жизнь «повеселе-ла». Начнет Иринка, бывало, пол мыть, в своей комнате вымоет, в отцовском кабинете — мы тогда уже жили в Перми, — поставит ведро в большой комнате на середине, тряпку бросит, откроет пианино, сядет и запоет, то: «Сама полюбила, никто не велел...» — поет во всю головушку, слезы как горох... Или: «Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда слушал ты песню мою...» Захлопнет крышку, умоется, попьет воды из-под крана — и пошла мыть дальше. В другой раз почувствует, что папа маленько выпил, снова к пианино и, чтоб ему потрафить, запоет: «Позарастили стежки-дорожки, где проходили милого ножки, позарастили мохом-травой, где мы гуляли, милый с тобою...»

Покют папа с дочкой, заливаются. И настала пора, когда и за руку не возьмешь, и куда пошла-то, смолчит, то ответит, мол, в одно место. «Когда придешь?». — «Не знаю».

А поэт Владимир Башунов об этом скажет:

Звезда утренняя, звезда вечерняя,
Судьба материнская, судьба дочерняя —
И обок стоят, да врозь.
Одна вспоминает, другая мечтает.
И кто им друг друга услышать мешает?
Ведь все они видят насквозь!
— Ах, доченька, что ты затеяла снова?
— Ах, мама, я выросла, честное слово.
И думать умею сама.
— Мы были совсем не такими... — Не надо!
Мне все эти речи знакомы с детства.
А сердце? Достанет ума!
Та скажет одно, а та переиначит,
Одна запоет, а другая заплачет...

И повзрослев, она как-то не смогла определиться в жизни. Техникум не закончила, институт не закончила, заимела двух детей, Витю и Поленьку, оставив мужа, воспитывала одна — везде и всюду сама, и никто не знает, сколько она недоспала ночей, сколько просидела у кровати, когда то один заболел, то другая... Пожаловаться бы, да кто поможет, кто изменит? Нас щадила, как могла, израсходовала безжалостно свой жизненный резерв, сократила свою единственную жизнь и вот уж шесть лет покоится на деревенском кладбище. Может, и душа ее уже поуспокоилась, а наша боль, наше убийственное горе не убывает...

Как-то побывали у нее на могилке, приехали с кладбища домой, вспомнули, начали обедать, и тут Виктор Петрович как заплачет! Никогда, говорит, не придавал значения своему возрасту, а теперь глубоко и горько сожалею о том, что так уж много лет нам и так малы осиротевшие внуки...

Племянник Толя жил у нас, рос вместе с нашими детьми, не всегда вкусно ел, как и наши ребяташки, не всегда нарядно был одет, как и наши ребяташки. Рано вместе с дядей наострился рыбачить и полюбил реку и лес. В Перми закончил с отличием техникум строительный и по совету дяди Вити, коль оба заядлые рыбаки, попросил, чтоб его распределили в Уссурийский край — там тайга, там рыба, там экзотика!.. В Перми осталась его невеста, Иринкина подружка, очень милая и скромная девушка Оля Гаврилова. Но Толя, едва начав работать, почему-то скоро решил, что строителям выпивать как бы само собой положено и быстро увлекся этим «делом». Когда Виктор Петрович надумал переезжать в Вологду, надо было, чтоб Толя вернулся из дальних краев, мы бы оставили на них квартиру, и им полечче было бы начинать свою семейную жизнь. Оля привезла Толю в Пермь, они поженились, через год появился у них сынок Арсений. Оля терпеливо и самоотверженно пыталась излечить мужа от недуга — не смогла. И с Толей пришлось расстаться...

Однажды приехал к Виктору Петровичу из Москвы молодой журналист. А Виктор Петрович как раз работал над рукописью повести «Пастух и пастушка». Уважая всякую работу, отодвинул в сторону свою рукопись и приготовился слушать или беседовать. И тот вдруг просить начал, чтоб Виктор Петрович чего-нибудь наговорил ему на диктофон, с которым и обращаться-то по-настоящему не очень мог. Виктор Петрович пожал плечами, на меня посмотрел растерянно, на свою рукопись и говорит журналисту, что я, мол, уважаю работу и вот, видите, ради вашей отложил свою. А вы меня просите чего-нибудь «наговорить». Ко мне нужно приезжать или приходиться готовым

для работы, как поступают, кстати, и столичные журналисты. А вы — «наговорите». Я ничего вам «наговаривать» не буду, еще раз повторяю, чтоб вы и мою работу уважали тоже. Тот умолял, почти плакал, мол, меня в штат не зачислят, квартиру не дадут, а у меня молодая жена, ребенок...

Виктор Петрович не дослушал его, велел мне накрывать на стол, гостю показал, где туалет, где можно вымыть руки, а потом, мол, милости просим к столу. И вот сидят они за большим столом друг против друга, выпили, закусили. Виктор Петрович долго смотрел на журналиста и сказал:

— Ты знаешь, Саша (так звали журналиста), я завидую молодым, но не таким, как ты, а кому за сорок, но еще не пятьдесят. Прекрасный возраст! В этом возрасте человек меньше совершает легкомысленных поступков или иных безрассудств, уже начитан, может убежденно делать какие-то обобщения, реже заблуждаться и многое успеть сделать...

Как жаль, что находясь в этом самом прекрасном возрасте, мой племянник, когда-то симпатичный парень, далеко не лучшим образом распорядился своей жизнью. В сорок семь лет он был уже состарившимся, почти разрушенным человеком, и все из-за слабости к спиртному.

Год назад он лишился ноги — ампутировали — гангрена, а затем и умер. Увы, ни годы, ни беды, ни убеждения близких, несмотря ни на что страдающих из-за него и жалеющих его, ничуть не изменили Толю. Недожитые им его годы остались лишь в горькой памяти родных и друзей.

Я приведу здесь отрывок из стихотворения В. Захарова «Случай на выставке».

Над суетою монотонной, недостижимо чиста,
Плывет Сикстинская мадонна, и отступает суета.
И мы глядели снизу вверх, и вдруг в каком-то испуге
Перед картиной на колени небритый рухнул человек.
В торжественно гудящем зале, где созерцалось божество,
Он плакал пьяными слезами и не стыдился никого.
Он руки покаянно поднял, он сам себя казнил, крушил:
— Я понял, — он кричал, — я понял,
С какими стервами я жил!
О, как рыдал он просветленно, открывший, что он потерял!
— Прости меня! Прости, Мадонна!
Он одержимо повторял.

Толя не внял добрым советам, не покался, так нелепо ушел из жизни, не дожил до прекрасного, мудрого, бесценного возраста. Очень, очень жаль...

Виктора Петровича зачислили на учебу в Москву на двухгодичные Высшие литературные курсы, и он пермякам-писателям и писательскому начальству заявил, что после курсов в Чусовой не вернется, ему даже дорога на электричке от Чусового до Перми и обратно, пока он сотрудничал на областном радио, обрыдла, что творческой среды нет от жизни глухой и чумазой, где даже снег белым не бывает, когда и кошки, и козы, и люди — все серые и чумазые, устал, глядеть на это уж не может и жить далее не будет.

В Перми, в центре города, строился дом, в котором и была вырешена Виктору Петровичу квартира. Пермское и, в частности, писательское начальство урезонило Виктора Петровича, мол, здесь родился как писатель, организация уже по-хорошему заявила о себе и пополнилась еще одним членом Союза писателей, и как-то не очень благодарно он поступит, если уедет в другой какой край или город. Тогда и взялись руководители города решать квартирный вопрос для писателя Астафьева.

В издательстве главным редактором работал удивительный человек, образованнейший и деликатный — Борис Никандрович Назаровский. У него на бывшем Винном заводе — так по привычке называлось то место — была дачка, вернее банька, приспособленная под дачку, и Виктор Петрович очень его просил подыскать для него избушку, да хорошо бы поближе к речке — как же он без природы-то, без рыбалки-то?! И Борис Никандрович в скором времени встретился с бывшим мельником, жившим в деревне Быковке и продававшим свой дом вместе с пристройками. Сначала Виктор Петрович с Борисом Никандровичем сходили туда — деревня маленькая, стоит на очень красивом месте, от большой воды с парохода идти километра три, а внизу, около дома, за баней течет говорливая, до слезы прозрачная и студеная вода — зуб ломит, — и харюзки водятся! В уторе — клубника, дальше — земляника, малина. И дорога от Винного до Быковки идет сквозь сосновый бор и по обочинам черника да земляника...

Кушили мы эту избушку и долго приводили ее в порядок, и артельно, и поодиночке, только две старых ямы со сгнившими срубками, где когда-то хозяева хранили овощи, — забили хламом до отказа. Много, очень много потребовалось времени, силы, упорства и еще Бог знает чего, чтобы привести все в нормальный жилой вид и состояние. В одной «конюшке», выбеленной, оклеенной, с ровненьким промытым полом, который покрыли двумя половичками, мы оборудовали кабинет Виктору Петровичу. В